

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

СОВ  
ДЕТСТВО

*Книга  
о светлом  
прошлом*

*Предков нельзя приугатить  
к хорошим оценкам — они  
превращаются в вымогателей  
платежей*



*Детство — это Година сердца*



Новая проза Юрия Полякова

Юрий Поляков

**Совдетство**

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Поляков Ю. М.**

Совдетство / Ю. М. Поляков — «Издательство АСТ»,  
2021 — (Новая проза Юрия Полякова)

ISBN 978-5-17-136790-9

Новая книга известного русского писателя Юрия Полякова «Совдетство» — это уникальная возможность взглянуть на московскую жизнь далекого 1968 года глазами двенадцатилетнего советского мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искренне ожидающего наступления светлого коммунистического будущего. Автор виртуозно восстанавливает мельчайших подробностях тот, давно исчезнувший мир, с его бескорыстием, чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро, равенство, несмотря на встречающиеся еще отдельные недостатки. Не случайно новое произведение имеет подзаголовок «книга о светлом прошлом». Читателя, как всегда, ждет встреча с уникальным стилем Юрия Полякова: точным, изящным, образным, насыщенным тонкой иронией.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-136790-9

© Поляков Ю. М., 2021  
© Издательство АСТ, 2021

## Содержание

От автора	5
Совдетство	6
Пщыроха	7
1. Бог любит троицу	16
Пересменок	17
2. «Все гансы – жмоты!»	25
3. После продолжительной болезни	33
4. Мы идем в баню!	40
5. Адмиралиссимус	48
6. Глупости	54
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Юрий Михайлович Поляков

## Совдетство

### От автора

*Детство – это родина сердца.*

*Чьи слова? Кажется, мои, хотя, возможно, я их где-то когда-то встретил, затвердил, забыл и теперь вот вспомнил. С возрастом непоправимо мудрееешь от пережитого, увиденного и прочитанного.*

*Иногда из интереса я листаю книги, отмеченные разными премиями. Попадают сочинения и о детстве, прошедшем в Советском Союзе, в котором мне тоже довелось родиться и возмужать. От чтения некоторых текстов остается ощущение, что будущие литераторы выросли в стране, где их мучали, тиранили, терзали, унижали, пытая мраком безысходного оптимизма, глумливо бодрыми пионерскими песнями, сбалансированным питанием и насильственным летним отдыхом. Оказывается, во дворе их нещадно лупили за вдумчивый вид или затейливую фамилию. Наверное, родившись чернокожими рабочими в колониальном Конго, эти авторы были бы намного счастливее...*

*Если верить подобным пишущим фантазерам, в те жуткие годы, озадачив учителя неправильным вопросом про светлое будущее всего человечества – коммунизм, можно было остаться на второй год или даже отправиться в колонию для малолетних преступников. Ну, а тех вольнодумцев, кто отказывался ходить в уборную строем с песней, ждал пожизненный волчий билет.*

*Особенно страдали, как выясняется теперь, дети, прозябавшие в высших слоях советского общества. Страшные темные дела творились в просторных цеховских квартирах, на академических дачах и в недоступных артеках. Возможно, так оно там и было... Не знаю, не посещал. Но вот у меня, выросшего в заводском общежитии Маргаринового завода, от советского детства и отрочества остались совсем иные впечатления, если и не радужные, то вполне добрые и светлые.*

*Об этом моя новая книга. Я писал ее с трепетом, погружаясь сердцем в живую воду памяти, извлекая из глубин сознания милые мелочи минувшего, перебирая забытые словечки ушедшей эпохи, стараясь воплотить в языке тот далекий, утраченный мир, который исчез навсегда вместе с Советским Союзом – со страной, где, устремляясь в будущее, так любили для скорости сокращать: «ликбез», «колхоз», «комсомол», «райком», «спортзал», «детсад», «совдетство»...*

*Сознаюсь, это очень непросто – воссоздавать ушедшее время: многое забылось, исказилось, покрылось домыслами, а что-то преобразилось под поздними впечатлениями до неузнаваемости. Если вы, дорогие читатели, обнаружите в моей книге неточности, искажения, а то и откровенные ошибки, прошу не счесть за труд и сообщить мне по адресу:*

**yuripolyakov@inbox.ru**

*Переиздавая «Совдетство», я непременно исправлю замеченные вами оплошности. Заранее благодарен!*

*А напоследок вот еще одно наблюдение: тем, кто не любит свое советское детство, и нынешняя наша Россия категорически не нравится. Такая вот странная закономерность...*

*Юрий Поляков, Переделкино, 10 июня 2021 г.*

## Совдетство Книга о светлом прошлом



## Пцыроха Вместо пролога

Я проснулся до будильника и лежу с закрытыми глазами. Тимофеич допоздна слушал футбол и забыл выключить «шляпу». Это у него бывает, потому что в полночь, сразу после гимна, радиоточка замолкает сама собой. А вот по транзистору, крутя колесико, можно хоть до утра ловить чужую, вихляющую музыку, которую дядя Юра Батулин, по прозвищу Башашкин, называет «джазом». А еще можно поймать иностранное бормотание, даже китайское, похожее на смешное кошачье мурлыканье.

Утро тоже начинается с гимна. Сперва слышится мерное пощелкивание, словно на патефон поставили треснувшую пластинку. Потом комнату заполняет кипящий мотив нашей Родины – страны с ритмичным именем СССР и гербом, похожим на мяч, влетевший между хлебных снопов. Летом на Волге мы с деревенскими играли в футбол, сложив ворота из вязанок ржи, забытых в поле колхозниками. Однажды мяч упал в воду, его понесло течением и выбросило на песок, когда прошел, ухая винтом, большой белый теплоход.

Я лежу в темноте, слушая гимн. Музыка вскипает и накатывает торжественными волнами, высокими, как от четырехпалубного «Валерия Чкалова». Я думаю о Шуре Казаковой. Сегодня она должна вернуться в класс: ее отправляли на целую четверть лечиться в «лесную школу». Что-то с легкими. Об этом сообщила в конце урока Ольга Владимировна и странно на меня посмотрела. С Шурой мы целый год сидели за одной партой, и когда ее увезли, мне стало так скучно, что я неделю не ходил в класс. Сказал: кружится голова, а в глазах роятся мухи, как у бабушки.

– Черные? – уточнила участковая врачиха Скорнякова, срочно вызванная ко мне на помощь.

– Белые мухи, – на всякий случай соврал я: индейский вождь Одинокий Бизон так называл снежинки.

– Странно, – задумалась она, поглаживая свои редкие усики. – Надо сдать анализы. И питаться лучше! Мамаша, ну что это такое? Ребра, как стиральная доска! Рыбий жир – срочно!

Лучше бы я подвернул ногу! Родители мне, конечно, сразу поверили, а бабушка Аня даже обрадовалась: «Вот! Я вам давно говорила: малокровие. Посмотрите: краше в гроб кладут!» Это, разумеется, неправда: грузчик Шутов со второго этажа выглядел гораздо хуже меня. Когда соседи прощались с ним во дворе общежития, нас, детей, к гробу близко не подпускали, но я успел увидеть сквозь толпу мертвое накренившееся лицо. Оно было серо-синего цвета, как мой испорченный свитер. Рассмотрел я и его сцепленные руки, которые он на себя наложил. Ужас!

Услышав про питание, Лида тут же сбегала в аптеку за рыбьим жиром и гематогеном, отдаленно напоминающим шоколад, по пути зашла в гастроном на Бакунинской, где купила черный кубик паюсной икры и сто граммов севрюги, нарезанной тонкими, как промокашка, ломтиками. Почему-то она уверена, что больным детям необходимы именно икра и севрюга, а не конфеты, пирожное «Картошка» или, скажем, мои любимые вафли «Лесная бэль». Взрослые в еде ничего не смыслят.

...Громко чертыхается отец, разбуженный внезапной музыкой. В нашем общежитии все зовут его Тимофеичем. Он садится на скрипучей кровати, шарит в темноте, чтобы выключить звук, но потом соображает: транзистор тут ни при чем, дело – в «шляпе». Музыка еще раз вскипает и обрывается.

Дядя Юра (меня, между прочим, в честь него называли) уверяет, что раньше гимн был со словами в честь Сталина, и его пели хором, но кукурузный Хрущ старые куплеты отменил, а новые так и не придумал. Теперь вот осталась одна мелодия. Самого Хрущева, лысого бородав-

чатого толстяка в мятой шляпе, с тремя звездами героя на обвислом пиджаке, сняли в прошлом году за волонтеризм и кузькину мать. Он весь наш хлеб отправил на Кубу, и меня посылали к булочной занимать очередь. Взрослые, сойдясь за воскресным столом, горячо обсуждали эти новости, по привычке понижая голос. Они всегда так делают, если заходит речь о политике и евреях. Башашкин мне объяснил: раньше за плохие слова о вождях могли даже забрать в тюрьму, теперь, конечно, не сажают, но опаска осталась.

...Тимофеич, кряхтя, встает и выключает бодрые утренние новости про уголь, выданный «на-гора» и «третью очередь обогатительного комбината». Я воображаю булочную, к которой стоит не одна, а целых три очереди. Если бы отец вечером слушал транзистор, а не репродуктор, прикрепленный высоко в углу и в самом деле похожий на черную шляпу, ему не пришлось бы вставать теперь на табурет, как несчастному Шутову. Но Тимофеич не хотел огорчать Лиду.

Тут вот такая история: ему на работе недавно, к Двадцать третьему февраля, подарили маленький приемник «Сокол», его можно слушать, прижав, точно грелку, к уху, не мешая окружающим. Лида сердится: «шляпа»-то вещает бесплатно, а для «Сокола» нужно время от времени покупать батарейку «Крона» за сорок копеек. Но злится она не из-за жадности, просто не верит, что транзистор отцу вручил завком, подозревая какую-то Тамару Саидовну из планового отдела. Но Тимофеич без конца дает ей «честное партийное слово», и Лида, тоже член КПСС, обязана ему верить.

- А что это у нас там еще такое? – тихо спрашивает он щекотливым голосом.
- Не надо! – сердито шепчет она. – Убери руку! Дай поспать!
- Все равно через полчаса вставать.
- Не надо, говорю! Профессор, наверное, уже проснулся...
- Хочешь, проверю? Я знаю, когда он притворяется.
- Не хочу! Слушай лучше Тмаркин транзистор!
- Ну вот, снова-здорово! Я ей про Фому, она мне про Ерёму!

Отец возмущается, резко встает со скрипучей кровати. За окном лишь слегка посерело. Его белая майка движется в темноте сама по себе, словно он стал Человеком-Невидимкой. Эту книжку мы читали вместе с бабушкой Елизаветой Михайловной, когда я гостил у Батуриных, где мне из-за тесноты стелют на ночь под столом. Потом я несколько дней фантазировал, как буду бродить по общежитию, заглядывая во все комнаты, никем не замеченный.

Впрочем, у нас можно и так зайти к любому соседу без всякого приглашения. Если там ужинают, тебя посадят за стол, от души навалят в тарелку вермишели с мясом или жаренной на сале картошки с луком и, глядя, как ты уминаешь (хотя дома то же самое уже в горло не лезет), начнут выпытывать про отметки. Про что еще можно спросить четвероклассника?

А если проведать нашу Алексевну, странную старуху с мучнистым лицом и фиолетовыми губами, она обязательно в сотый раз покажет чашку с царским вензелем, которую ей бесплатно подарили в 1913 году на Ходынке. У нее в комнате всегда пахнет валерьянкой, а черный кот Цыган прыгает по шторам, как обезьяна.

Единственные соседи, у которых я никогда не был в гостях, это Комковы. Они вообще никого к себе не пускают, да и сами редко выходят наружу. Порой во двор погреться на солнышке выползает старик Комков, одетый в ватные штаны и странный серый китель с накладными нагрудными карманами. Он никогда не подсаживается к мужикам, которые стучат под окнами костяшками домино. Соседи за глаза зовут его «вредителем». Одни говорят, что он десять лет сидел, другие – что валил лес, третьи – что лежал на нарах. В общем, не совсем понятно, чем он там занимался. Многочисленная семья Комковых глухо обитает в двух комнатах с прихожей и собственным умывальником! Оттуда время от времени доносится тяжелый неприятный запах.

- Самогон варят, – за воскресным обедом высказал догадку Башашкин.
- Хороший самогон лучше водки, – заметила тетя Валя, жена дяди Юры.



– Ну что ты такое говоришь! – Лида с удивлением посмотрела на старшую сестру. – Это же безобразие! Точно: я видела Комчиху с кошелкой сахара и дрожжей, – и она подозрительно уставилась на отца.

– Куда только смотрит милиция! – возмутился он, отводя глаза.

– Надо заявление написать. Из-за них Шутов до чертей допился!

– Не бери, Лида, греха на душу! – тихо попросила бабушка Маня. – Их будут судить, а тебя, дочка, стыдить!

Я почему-то, как и бабушка, конечно, только в мыслях, зову свою мать по имени – Лида. Хотя она выросла, вышла замуж и родила меня с Сашкой (он сейчас на пятidineвке в саду), но внутри, по-моему, осталась той маленькой девочкой, которая рыдала на всю станцию, когда во время эвакуации отбилась от поезда.

...Нет, сделавшись Человеком-Невидимкой, я и не собирался проникать к Комковым, хотя, конечно, пионер обязан сообщать в милицию обо всем подозрительном. Есть и другие неизведанные места... Прошлым летом мой друг Вовка Лемешев на спор залез в девчачью душевую через маленькое окно. Поднялся страшный переполох, потому что там мылась еще и наша вожатая Зоя, а у нее между ног оказалось больше кудрей, чем на голове. Вовка всем разболтал, и его чуть из пионерского лагеря не выгнали...

Тимофеич, гремя коробком, подходит к окну, встает коленом на низкий мраморный подоконник, открывает форточку и чиркает спичкой, которая вспыхивает в сложенных ладонях, напоминая бабушкину лампу под красным абажуром. В рыжем свете отчетливо видны его курчавые волосы, густые сдвинутые брови и небритые щеки, западающие при затяжке. Я осторожно выглядываю из-под одеяла: так и есть – отец курит над моим аквариумом, и пепел падает в воду, а рыбкам это вредно. В комнате пахнет «Беломором» и веет свежестью из форточки.

– Ребенка простудишь! – сварливо предостерегает Лида.

– Пусть закаляется! Ему в армию идти.

– Закрой!

– Докурю и закрою. Спи! Ты же спать хотела.

Март. Ночи еще холодные. Как говорит бабушка Аня: «Пришел марток – надевай трое порток!» Но все уже готовится к весне. Дворники ломami раскололи на мостовой лед толщиной с «Книгу о вкусной и здоровой пище». Огромные куски сложили пирамидами, но пока еще не увезли на грузовиках и не свалили в Язу. Мы играем в царя горы. Меня сбросили с самого верха, я упал в лужу на мостовой и загваздал масляной грязью новый свитер, связанный мне ко дню рождения тетей Валей. Ужас!

Сперва я хотел оттереть пятно ацетоном, его потихоньку дал мне наш сторож, бывший моряк дядя Гриша из шестой комнаты. Не удалось. Дождавшись, когда родители уйдут в вечернюю смену, я вскипятил воду, развел в тазу полбрикета хозяйственного мыла, но в результате свитер, прежде белый, стал свинцово-серым, как мертвый Шутов. Отжав мыльную воду, я сунул тетин подарок в диван и стал ждать, пока натворю еще чего-нибудь, чтобы уж пострадать сразу за все.

– Почему в комнате пахнет сыростью? – спросила, вернувшись со смены, Лида.

– Я рыбкам воду менял.

– Правильно, а то сдохнут, как в прошлый раз!

– Это из-за пепла!

...Тимофеич в опасной близости от моего аквариума курит свой «Беломор», который на дух не переносят даже лютые волжские комары, и внимательно присматривается ко мне. Я это чувствую и стараюсь не шевелиться.

– Профессор спит, – многозначительно сообщает он Лиде.

– Нет! – твердо отвечает она.

«Профессор» – одно из моих прозвищ. Родители говорят, что так звали меня еще в детском саду. На обычный вопрос, как я вел себя в течение дня, воспитательницы отвечали: «Хорошо вел! Другие носятся, орут, проказят, а ваш все время сидит и думает, как профессор. Не ребенок – чудо!» Потом это прозвище забылось, и я стал «Гусем лапчатым» – из-за низкого гемоглобина. Затем меня долго обзывали «ПцYROхой». И до сих пор еще иногда так кличут. О, это особая история.

Давным-давно, когда я окончил первый класс, мы ехали с Батуриными в Новый Афон, к морю. Оттуда, кстати, в прошлом году я привез большую раковину, которую своими руками, чуть не захлебнувшись, достал с самого дна, чтобы подарить Шуре Казаковой. Но выковыривая отваренного рапана, я, видимо, плохо зацепил проволочкой витиеватое тельце, и хвостик остался внутри. Пока раковина добиралась со мной до Москвы, она протухла и стала пахнуть еще хуже, чем жилище Комковых.

– Мышь, что ли, сдохла? – недоумевала бабушка Маня, шаря по углам нашей комнаты, но за батарею заглянуть не догадалась.



Спасая подарок, я влил туда духи «Красная Москва», подаренные Лиде Титмофеичем к Восьмому марта. В итоге запах стал еще отвратительнее. Пришлось оттащить раковину на чердак и засунуть между стопками старых газет. Пусть проветрится. А Шура тем временем уехала в свою «лесную школу». Вскоре дома заметили явную недостачу в витом флаконе, хранившемся в коробке с красной кисточкой.

– В чем дело?! Где духи?! – чуть не заплакала Лида.

Пришлось наврать, будто бы я порезал палец, не нашел йод и решил продезинфицировать рану духами. К этому рассказу отнеслись с пониманием: бабушка Аня в детстве чуть не умерла от антонова огня – заражения крови. Меня даже похвалили за находчивость, забыв проверить наличие болячки, на которую ушло полсклянки «Красной Москвы».

– Молодец, Пцыроха, но запомни на будущее: йод в серванте слева, рядом с валерьянкой. Понял?

– Понял!

...Отец продолжает курить, выдыхая в форточку. Пепел он, конечно, стряхивает в аквариум. А ведь обещал! Клубы дыма, серебрясь в лучах заоконного фонаря, слоями уплывают на улицу. Мне кажется, Тимофеич все еще за мной наблюдает: сплю или нет. Для достоверности я всхрапываю и чмокаю губами.

– Отойди от аквариума! – скрипучим голосом требует Лида. – Рыбки сдохнут.

– Все сдохнем.

– Ты обещал Пцырохе!

– Ты мне тоже кое-что обещала...

...Так вот, когда мы ехали в Новый Афон, поезд остановился на какой-то станции, и к открытым из-за жары окнам вагона бросились горластые местные жители с ведерками абрикосов и кулками черной ежевики. Одна шумная тетка всем предлагала жареную утку, которая утром еще крикала. Пассажиры нюхали тушку и не верили. Абрикосы тоже показались тете Вале кислыми. Но поезд дернулся, и все начали покупать еду, как ненормальные. А из-за утки чуть не подрались. Я в ту пору как раз освоил букварь и разбирал любые надписи, попадавшие на глаза. Прочел я, причем очень громко, и название станции, проплывавшей за окном:

«Пцы-рб-ха».

Плацкарт содрогнулся от хохота. Даже хмурый отпускник в потной майке, не успевший забрать у продавца двугривенный сдачи, и тот нехотя улыбнулся. На самом деле эта абхазская станция называлась «Псырцха». Даже из других вагонов приходили потом смешливые попутчики поглядеть на меня, грамотея. «Пцырохой» я стал надолго, если не навсегда.

Но некоторое время я был еще и «делегатором». Как-то в воскресенье мы пошли в зоопарк, посмотрели тигров, львов, страусов, слона и стали искать крокодилов-аллигаторов. Нашли. Я воодушевился, попросил отца поднять меня на руках, чтобы получше рассмотреть чудовище, и, взлетев над толпой, закричал: «Ну, где же этот ваш делегатор?!» Народ коллективно заржал. Надвигался очередной съезд, и по радио с утра до вечера твердили про то, как «делегаты съезжаются в Москву со всех уголков необъятного Советского Союза». Каким образом в моей голове «делегат» и «аллигатор» слились в «делегатора», не понятно. Но всем очень понравилось. Башашкин рассказал про это своим сослуживцам в военном оркестре, и они просили передать мне привет. Однако прозвище «делегатор» не прижилось. А вот в пионерском лагере ко мне прочно прилепилась кличка «Шаляпин», а к двум моим друзьям – «Лемешев» и «Козловский». Почему? Это отдельная история.

В последнее время дома меня снова стали звать «Профессором», только без былой благосклонности. Недавно я выменял за марки, подаренные Сергеем Дмитриевичем, соседом Башашкина, плоский китайский фонарик с цветными фильтрами и теперь могу читать под одеялом. Отец почему-то страшно из-за этого злится, ругается, а позавчера сорвал с меня одеяло и отобрал фонарик.

– Спи!

– Не хочу!

– Тогда дай родителям выспаться!

– Я никому не мешаю. Я под одеялом.

– Задохнешься!

- Не задохнусь.
- Мешаешь!
- Не мешаю.
- Верни ребенку фонарь! Пусть немного почитает...
- Нет, не пусть! Будет в очках, как дед, ходить. Ослепнет – ты его кормить будешь? Ты?
- Не ослепну! – твердо пообещал я.
- Спать! Дай сюда книгу!
- Сам ничего не читаешь, сыну хоть дай почитать! – с непонятным торжеством поддержала меня Лида.

– Я вам сейчас всем дам почитать! – рявкнул Тимофеич, включил транзистор и стал шарить в треску эфире, ища что-то спортивное.

– Значит, говоришь, завком подарил? – зевая, чтобы вопрос выглядел, как можно, равнодушнее, поинтересовалась она.

– Снова-здорово! – побагровел отец, вытряхнул из пачки беломорину и, как сегодня, бросился к окну.

Удивительно, сколько неприятностей может принести такая полезная вещь, как приемник «Сокол» в кожаном чехле! Вот и сейчас бедный Тимофеич, сопя, доканчивает папиросу, бросает окурочку в форточку, и тот красной трассирующей пулей летит в мартовскую темень.

– Профессор точно спит... – жалобным голосом сообщает он матери. – Ну Лид!

– Нет! – еще тверже отвечает она.

Отец скрипит зубами, натывается на стулья, гремит помазком о пластмассовый стаканчик, находит и перекидывает через плечо белое вафельное полотенце, светящееся в полутьме. На пороге спрашивает строго:

– Тебе очередь занять?

– Нет, у меня сегодня повышение квалификации. К девяти пойду. Посплю еще...

– Поспи, поспи!

Хлопнув дверью, он уходит на кухню – бриться и умываться. Вернется минут через десять, если нет очереди в уборную.

– Горшок вынеси! – вдогонку обидным голосом кричит Лида, вздыхает и ворочается в постели.

Я, подозревая свою вину, лежу с закрытыми глазами и думаю о Шуре. Надо будет забежать перед занятиями на чердак и, если раковина проветрилась, сегодня же подарить ее однокласснице в честь возвращения из «лесной школы». А если не проветрилась? Тогда можно преподнести ей в майонезной банке гуппи с алым вуалевым хвостом. Этих рыбок у меня много: они живородящие и размножаются беспрерывно.

Вдруг я слышу странные звуки, приоткрываю глаза: Лида в комбинашке сидит на кровати, держит в руках приемник «Сокол» и плачет. Плохо дело! Сейчас вернется, благоухая одеколоном «Шипр», Тимофеич. К свежему порезу на щеке будет, как обычно, прилеплен окровавленной клочок газеты.

– Ревешь? – спросит он.

– Вот еще! – ответит она.

И они снова заговорят о Тамаре Саидовне из планового отдела, потом обязательно поссорятся, отец вытащит из-под кровати фибровый чемодан с металлическими наугольниками, объявит, что немедленно уезжает к бабушке Ане на Чешиху, начнет собирать вещи и будет долго, чертыхаясь, искать свой единственный галстук, который во время ссор всегда куда-то девается.

– Знаю я твою Чешиху. Давай, давай!

– Опять! Я ей про Фому, она мне про Ерёму!



Допустить этого никак нельзя. Я потягиваюсь, будто только что проснулся, показательно моргаю и зеваю. Лида быстро вытирает слезы и накидывает на плечи одеяло:

– Выдрыхся, Пцыроха?

– Ага...

– Что ты хотел мне сказать вчера перед сном?

Вчера я хотел сказать ей, что самка синего петушка заикрилась и умерла, поэтому надо ехать на Птичий рынок за новой рыбкой, а для этого необходим полтинник. Шесть копеек стоит трамвай туда и обратно, сорок – рыбка, и четыре – газированная вода с кизилевым сиропом. Но говорю я ей совсем другое.

– Ты не будешь ругаться?

– Смотря за что... – настораживается она.

Я встаю, зажигаю торшер – ядовитый электрический свет заливает комнату. Глаза у матери красные. Она украдкой запикивает под наволочку кончик отцовского галстука. Изобразив на лице скорбное отчаяние, я с сопением поднимаю крышку дивана и достаю из его пыльной пасти испорченный свитер, тяжелый, все еще влажный, успевший покрыться зеленоватой плесенью.

– Это еще что такое? – ужасается Лида.

– Тетинвалин свитер...

– Кошмар! Отец тебя убьет!

Никто меня, конечно, не убьет. Возможно, выпорют. Тимофеич одним движением выдернет из брюк ремень, точно Котовский шашку из ножен, повалит меня на диван и начнет стегать вполсилы, а мать будет хватать его за руку, умоляя:

– Ну хватит, Миш, хватит! Ребенок же...

Но скорее всего, удастся убежать во двор до того, как мою оголенную попу обожжет первый хлесткий удар. Кажется, Тимофеич нарочно дает мне возможность смыться, как-то слишком долго потрясая ремнем и не пуская его в дело. Там, во дворе я спрячусь между ящиками и буду страдать, размышляя о том, порют ли за проказы девочек – Шуру Казакову, например? Если и порют, то, скорее всего, прыгалками. Вернусь я через полчаса, потому что надо собираться в школу. На лестнице, возможно, встречу опоздавшего на работу повеселевшего отца. Он даст мне на бегу легкий, примирительный подзатыльник. Я обиженно отвернусь и потом день-два буду разговаривать только со своими рыбками. Зато родители не поссорятся, и никто не уедет на Чехию.

Перед тем, как меня наказать, они всегда почему-то мирятся...

2016 г.



## 1. Бог любит троицу

...Тимофеич весело посмотрел на меня, поспешно встал со стула и шагнул к шифоньеру. Заметив мой укоризненный взгляд, он усмехнулся, мол, Бог троицу любит, и взялся за ключик, торчавший из скрипучей дверцы... Но тут в комнату влетела раскрасневшаяся у плиты Лида с шипящей сковородой в руках:

– Ой, горячо, ой, не могу-у-у!

Я быстро отодвинул плетеную хлебницу и солонку, освобождая место для фанерной подставки, и маман, уронив на нее чугунную лохань, затрясла в воздухе обожженными пальцами.

– Ой-ой-ой!

А Тимофеич непонятно как (в кино это называется «комбинированными съемками») вмиг перенесся от шифоньера к тумбочке, включил телевизор, сел к столу и с нарочитым вниманием уставился на экран, где черно-белый князь Игорь пел:

*О, дайте, дайте мне свободу!  
Я свой позор сумею искупить,  
Спасу я честь свою и славу  
И Русь от недруга спасу...*

## Пересменок

### Повесть о советском детстве

*Как это давно было! Теплый, словно весенний ветерок... – я и теперь его слышу в сердце.*

*Иван Шмелев. «Лето Господне»*

– А что по другой программе? – спросила Лида, держась пальцами за мочки ушей.

– «Сельский час».

– Тогда пусть уж поют...

Я осторожно, с помощью полотенца снял со сковороды раскаленную крышку. В нос ударил долгожданный запах домашнего ужина, и открылась дивная картина: тонкие кружки золотого, с коричневыми подпалинами, картофеля, пересыпанные истомленными кольцами лука и полупрозрачными, в темных прожилках кусочками сала, каждый размером с молочную ириску. Такой домашней вкуснятины в пионерском лагере не дождешься! Жарево скворчало и даже подрагивало в сковороде, словно сердясь на глупых людей, которые не спешат наброситься на кушанье, пока не остыло. Я спохватился и наложил себе гору картошки, выбирая со дна подгоревшую – она мне нравится своим хрустом и напоминает обугленные клубни, которые мы пекли в золе во время однодневного похода на речку Рожайку и обратно. Правда, бабушка Аня обычно предупреждает страшным голосом: «Не ешь горелое! Желудок испортишь!»

– Миш, совсем забыла: Батурины взяли билеты! – радостно сообщила Лида, накладывая отцу в тарелку.

– Да ну?! Я уж думал, улыбнулось Профессору море! – и он подмигнул мне, как сообщнику.

– Нет! Валентину все-таки отпустили с работы. В последний момент. А то она вся испереживалась... Башашкина ведь без присмотра нельзя отпускать! Сам знаешь. И Пцыроху ему не доверишь...

– Да уж... Сто грамм не стоп-кран. А ты – буржуй – в море покупаешься! – посветлел лицом Тимофеич и дал мне ласковый отцовский подзатыльник.

Редкий на улыбку, в такие минуты он необычайно красив, удивительно напоминая артиста Ларионова, играющего юнгу Дика в «Пятнадцатилетнем капитане». Лида как-то полуслутом сказала, что втюрилась в отца именно за это сходство. «Больше, значит, не за что было?» – обиделся он. И родители потом долго выясняли отношения, как ледышками кидаясь друг в друга неведомыми мне мужскими и женскими именами. А вот я влюбился в Шуру Казакову за то, что она одновременно похожа и на Миледи, и на Констанцию Бонасье из «Трех мушкетеров», хотя если бы Шура не была на них похожа, я бы все равно влюбился...

– Когда едут? – уточнил отец.

– Послезавтра в 15.45. С Курского вокзала.

– Как же Валька билеты впритык достала?

– По брони Главторфа, как обычно.

– А-а... Ну, понятно. Это нам, косорылым, с ночи надо очередь занимать или за месяц брать. И Профессору тоже взяла?

– Конечно! Верхняя полка.

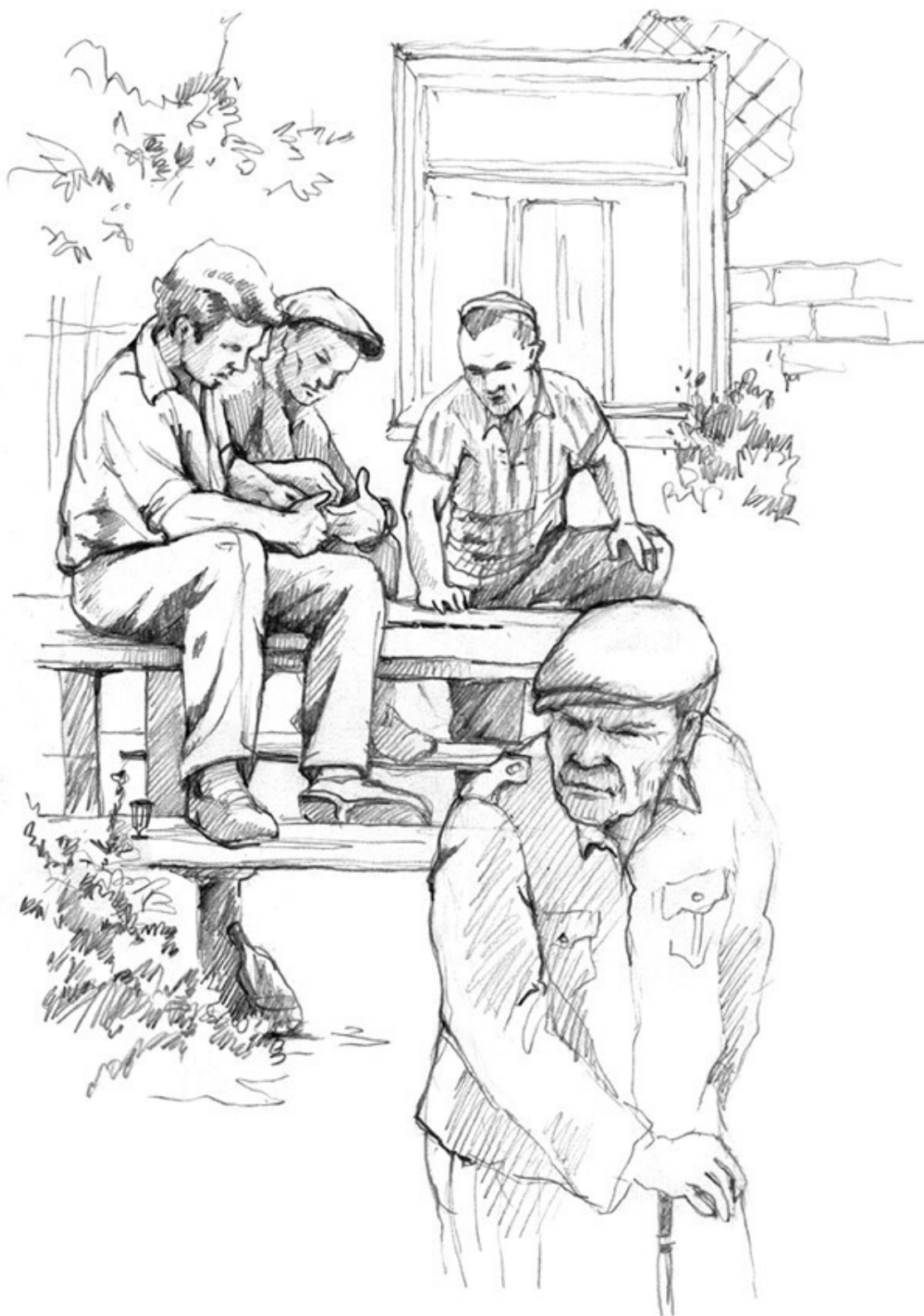
«Лучше верхней полки в поезде только последняя парта в классе!» – подумал я, наблюдая, как коварный хан Кончак с нарисованными бровями прельщает нашего князя конями, шатрами, булатами, красивыми пленницами, но у Игоря есть дома жена, и он к ней скоро бежит. Эту оперу передают часто и по радио, и по телеку, поэтому содержание я знаю почти наизусть.

В дверь постучали, и в комнату заглянул лысый дядя Витя Петрыкин, отец моего друга Мишки:

- Приятного аппетита!
- Спасибо, Виктор. Садись к столу! – строго пригласила мать.
- Да нет, мы с Валюшкой – уже... того... перекусили.
- Дядя Витя, а Мишка когда вернется? – спросил я с набитым ртом.
- Прожуй сначала! – наставительно буркнул Тимофеич.
- Позавчера только в деревню увезли дружка твоего. На парное молочко. Теперь жди к первому сентября.
- Жа-алко!
- Оно – конечно.
- А что там ваш Володя? – участливо поинтересовалась маман.
- И не спрашивайте, Лидия Ильинична! Как лег лицом к стенке – так и лежит. Скоро два месяца...
- А институт?
- Не желает. Ничего теперь не хочет... Говорит: в армию пойду.
- И то дело! – кивнул отец. – Проветрит башку и поступит через два года.
- А если на флот? – спросил я.
- Тогда через три. Я три с половиной года отбарабанил – и живой.
- Миш, ну что ты ерунду мелешь! Вить, врачам-то показывали?
- А то как же! Не раз.
- И что?
- Сказали: стресс.
- Это еще что за дрянь такая? – удивился отец. – Не слышал.
- Новая болезнь. Нервная, – вздохнул Петрыкин. – Лечить не умеют. На молодой организм надеются. Тимофеич, козла-то забьем после ужина?
- Никаких козлов! – вскинулась маман.
- Посмотрим! – набычился отец: он терпеть не мог, когда им «рулили».
- Тогда я четвертого не ищу!
- Третьего тоже не ищи! – парткомовским голосом предупредила Лида, намекая на распитие в неполюженном месте.
- Ну что вы такое, Лидия Ильинична, говорите! – обиделся Петрыкин и, закрывая дверь с той стороны, напомнил: – Тимофеич, ждем!

Но маман знала, о чем говорила. Дядя Витя славился тем, что иногда напивался до беспамятства. Несколько раз его, беспробудно спящего, привозил на мотоцикле с коляской наш участковый Антонов. Этой зимой соседа где-то подобрали и приволокли в общежитие на санках. Чуть не замерз. С отцом такого никогда не случалось, хоть и он тоже не без греха. Пока Лида жарила на Большой кухне картошку, ему удалось дважды сделать свое дело: достать железную фляжку из тайника – бокового кармана зимнего пальто, висевшего в нафталиновой темноте шифоньера, плеснуть в хрустальный стаканчик, поспешно выпить, занюхать черным хлебом и погрозить мне пальцем, мол, не проболтайся, ни-ни! У отца есть такая специальная фляжка, плоская и выгнутая, чтобы плотнее прилегала к груди. Он называет ее «манерка».





– Почему «манерка»?

– А леший его знает. Манерка – и все тут.

В ней Тимофеич выносит с завода спирт, которым положено протирать контакты. Не знаю уж: или контактов там слишком много, или они какого-то невероятного размера, или их

вообще никогда не протирают, но такие же фляжки на предприятии имеют почти все работяги и даже отдельные труженицы.

– Миш, попадешься – с завода выгонят! – постоянно предупреждает маман.

– Ладно тебе...

– Послушай, на совещании в райкоме сказали: принято решение – покончить с несунами навсегда.

– Ага, пусть сначала начнут!

– Как не стыдно! Ты же коммунист!

– А коммунистам даром не наливают. Кто же, интересно знать, меня выгонит? И так работать некому! – усмехается в ответ Тимофеич. – Лимиту разную зазывают из деревни.

– А сам-то ты откуда?

– От верблюда.

Это чистая правда: не про верблюда, а про то, что работать некому. У проходных, по крайней мере на нашей Бакунинской улице, повсюду висят застекленные объявления, сверху крупно написано: «ТРЕБУЮТСЯ». А пониже и помельче перечисляется, кто именно: токари, слесари, водители, наладчики, фасовщики, грузчики, электрики, лекальщики, фрезеровщики, плотники... Позарез нужны даже карусельщики и револьверщики, хотя вроде бы желающих покрутиться на карусели и пострелять из револьвера должно быть выше крыши. Но это мне раньше так казалось – в детстве. Теперь-то я знаю, револьверщики из револьвера не стреляют, а карусельщики на карусели не крутятся. Те и другие работают на токарных станках. Наш сосед дядя Коля Черугин мне объяснил.

Мой отец, кстати, – электрик и всюду требуется. Когда по телевизору рассказывают о страшной безработице в Америке, меня переполняет чувство гордости за нашу страну, где человек всегда уверен в завтрашнем дне и никогда не останется без дела. Правда, ни на одной школе почему-то не висит объявление: «ТРЕБУЕТСЯ ЗАВУЧ ИЛИ ДИРЕКТОР», а когда я поинтересовался у Лиды, отчего никто не требуется в райком, она испуганно приложила палец к губам и попросила никому больше такой идиотский вопрос не задавать.

– Почему?

– По кочану!

Так она всегда говорит, когда не знает ответа или считает, что я еще не дорос до правильного понимания. Взрослые даже не догадываются, насколько мы, несмышленные, хорошо разбираемся в том, до чего, по-ихнему, «не доросли»!

– Миш? – ласково спросила Лида, подкладывая ему картошки. – Мы-то с тобой когда на море поедem, слышишь?

– Слышу, – буркнул отец, не отрываясь от телевизора, хотя оперу терпеть не мог, предпочитая балет.

На экране как раз начались буйные половецкие пляски. Из балерин ему нравится Уланова, а молодую и перспективную, как уверяет Серафима Николаевна, Плисецкую он называет почему-то «пляшущим циркулем».

– Так хочется в море окунуться! – мечтательно промолвила маман, поведя молодыми плечами.

– У меня отпуск в ноябре.

– Опять? Почему?

– График такой.

– Тебе уже два года отпуск летом не давали. Сходи в завком!

– Бесполезно. Скажут, как обычно: ты, Полуяков, – коммунист и должен понимать производственную необходимость. Сами, суки, в июле отгуливают.

– Ты все-таки сходи!

– Ладно, схожу. Лид...

- Что?
- Под картошечку надо бы!
- А разве праздник сегодня? – строго удивилась она.
- А как же? Сын из пионерлагеря вернулся!
- И то правда. В завком сходишь?
- Схожу.
- Честное партийное?
- Честное партийное. – твердо пообещал отец и добавил: – Без креста!

Тут вот такая хитрость: если даешь слово, но при этом держишь, например, в кармане скрепленные пальцы, клятва не считается, ее можно не выполнять. А сказав «без креста», ты обрекаешь себя на исполнительность.

– Ладно, только одну рюмочку! – благосклонно кивнула Лида.

– Две.

– Одну.

– Одну так одну. – Отец бросил на меня веселый взгляд, мол, видишь, сынок, бог-то все-таки любит троицу!

Он играющей походкой шагнул к холодильнику, где ждала своего часа легальная бутылочка с разведенным спиртом, настоящим на лимонных корках. Раньше, до покупки «Бирюсы», масло, колбаса, сметана, напитки хранились у нас в авоське, вывешенной за окно – в форточку. Холодильник мы приобрели едва ли не позже всех соседей, потому что Лида никак не могла выбрать марку, мучилась полгода, даже похудела от колебаний, наверное, у нее тоже был «стресс», как у Вовки Петрыкина. Но с другой стороны, ее можно понять. Попробуй выбери сразу! «Саратов» слишком громко работает. У «Севера» крошечная морозилка – на полцыпленка. «Апшерон» чересчур громоздкий для нашей комнаты. А на «ЗИЛ», самый лучший, вместительный, с покатыми женскими плечами, надо записываться, бегать на переключки и ждать года полтора. Башашкин сказал, что если бы Лида жила на Западе, то давно бы спятила, потому что там в продаже не пять-шесть, как у нас, а сто видов холодильников.

– Они там совсем ненормальные? – изумилась тетя Валя.

– Это – капитализм, глупая женщина! – ответил дядя Юра. – Конкуренция творит чудеса!

Я хорошо помню, как произошел окончательный выбор. Отец, увидав, что Лида снова куksится и подозрительно нюхает, достав из форточки, кусок «докторской», так хватил кулаком по столу, что задребезжал сервант и вылетела пробка из графина:

– Или ты сейчас же скажешь, какой холодильник мы берем, или я... или я... – Он побагровел и глянул на меня. – Или я Пцырохе мопед куплю! Хочешь мопед, сын?

– Хочу! – прошелестел я сухими губами, понимая, что в гневе Тимофеич способен даже на такое безумие, как покупка мопеда.

– Сейчас, сейчас... – взмолилась несчастная Лида, перебирая трясущимися руками бумажки, куда она тщательно записывала свои впечатления от разных холодильников.

И тут по радио, а оно у нас молчит, только когда работает телевизор, зазвучала песня, тогда ее передавали почти каждый день в исполнении Иосифа Кобзона, который очень нравился Лиде, хотя Башашкин, знающий мир музыки, уверяет, будто он совсем лысый, как Джакомон из сказки Родари про Джельсомино в стране лжецов. Певец тоже носит парик, то нахлобучивая его на брови, то, наоборот, сдвигая на затылок, будто шляпу. Из приемника донесся бархатно-серебристый голос:

*До свиданья, белый город  
С огоньками на весу!  
Через степи, через горы  
Мне на речку Бирюсу.*

*Только лоси славят в трубы  
Там сибирскую весну,  
Только валят лесорубы  
Там ангарскую сосну.  
Там, где речка,  
Речка Бирюса,  
Ломая лед, шумит,  
Поет на голоса,  
Там ждет меня таежная,  
Тревожная краса!*

– «Бирюса»! – расцвела Лида.

– Точно?! Не передумаешь?

– Нет! Никогда!!

Так, благодаря лысому Кобзону, у нас появился холодильник.

Тимофеич ликующим движением достал из «Бирюсы» легальную бутылку и попутно выхватил из серванта хрустальный стаканчик, уже дважды использованный. Лида молча заметила стаканчик крошечной рюмкой из сиреневого стекла. Отец покорно пожал плечами, не возражая, и явно переборщил: уж за что за что, а за размер питейной емкости он обычно бьется до последнего, как партизан в окружении. Все бы, наверное, обошлось, но тут «Бирюса», из которой выпустили немного холода, автоматически включилась, подпрыгнув и содрогнувшись так, словно там внутри заперли буйнопомешанного карлика. Выбирая марку, бедная Лида такой особенности агрегата не учла, но ради мира в семье мы дружно не замечали этот дефект. Однако сегодня отец, уязвленный сиреневой рюмочкой, вопреки негласному уговору, глянул на прыгающий холодильник и злопамятно усмехнулся. Лучше бы он этого не делал...

– А ну дыхни! – взорвалась мать.

Опытный Тимофеич сразу осознал свою ошибку и попытался дыхнуть, не выпуская, а, наоборот, втягивая в себя воздух, – особое искусство, необходимое в семейной жизни. Обычно у него это получалось, но не сегодня.

– Эх ты! При ребенке! Не стыдно?

– А ну вас всех к лешему! – выругался отец, закурил беломорину и включил телевизор еще громче.

Дикие звуки полонецких плясок наполнили комнату. Хорошо, что в нашем старинном доме стены толщиной в метр, и соседи ничего не услышат, даже если у нас будет петь вживую хор Большого театра.

«Бог любит троицу», – насмешливо подумал я, подкладывая себе картошки.

В моем воображении уже расстилалось, искрясь, как платье певицы Гелены Великановой (бабушка Аня считает, будто у нее один глаз стеклянный), лазурное море с белыми теплоходами на горизонте. Пенные голубые волны, шурша, накатываются на прибрежную гальку, и видно, как в прозрачной воде проплывает, сверкая боками, косяк серебристой чуларки, а чуть дальше качаются синие студенистые медузы.

Лида встала и решительно выключила звук телевизора, потом спросила меня сахарным голосом:

– Сынок, ты в чем на юг поедешь?

Если родители ссорятся, то разговаривают со мной нарочито ласковыми голосами, состязаясь в любви к ребенку. А когда мой брат Сашка был еще грудничком с большими, умными, но ничего не понимающими глазами, они, перебивая друг друга, излагали ему свои доводы в споре. Он в ответ пускал пузыри и беззубо улыбался обоим.

– Профессор, я тебе, кажется, вопрос задала!

– Не знаю... В чем обычно...

– А на ноги?

– Кеды.

– Запаришься. Это же юг.

– Я там во вьетнамках буду ходить.

– Вьетнамки не обувь.

– Сандалии возьму.

– Ты же их порвал.

– А разве не починили?

– Нет, мастер сказал, ремешок пристрочить уже не к чему... – вздохнула Лида и громко, с укором произнесла: – Ребенку вообще ходить не в чем! Как беспризорник...

И хотя слово «вообще» было произнесено трагически, отец даже ухом не повел, он, насупившись, уставился на экран, где безмолвно металась половецкие красоти с огромными приклеенными ресницами и косами до пола.

Маман некоторое время подозрительно смотрела на распущенных азиаток, и по лицу ее пробежала тень:

– Миш, еще картошечки положить?

– Сыт.

– Ну как знаешь... – нахмурилась Лида, и на ее красивом лице появилось выражение жалкой беспомощности, обычное во время ссор с отцом, если, конечно, дело не касалось запаха чужих духов и следов помады на рубаше.

Тогда она вскрикивает не своим голосом: «Опять!» – и по квартире, как в книжке «Понедельник начинается в субботу», летают вещи, а в наэлектризованном воздухе вспыхивает жуткое имя Тамара Саидовна. Или просто: Тамарка! Тимофеич тут же дает честное партийное слово, мол, у него и в мыслях ничего такого нет! Если Лида верит, меня отправляют гулять во двор. Дождь там, снег или выюга – значения не имеет. Я тихо удаляюсь, понимая, что взрослым в присутствии детей мириться как-то неловко. А ссориться – ловко? Если же маман упорствует в подозрениях, отец достает из-под кровати фибровый чемодан, швыряет туда какие-то вещи и со словами «с вами тут рехнешься!» уезжает ночевать к бабушке Ане, на Чешиху, где, между прочим, прописан, о чем ему Лида вдогонку и напоминает. Потом она, конечно, переживает, вздыхает, поскуливает, капает на сахар валокордин, выдерживает характер. Однако отец уезжает ненадолго: там, на Чешихе, ему еще хуже.

– Пойду, что ли, чайник поставлю... – раздумчиво произнесла маман и выжидающе глянула на мужа.

– Сходи, – разрешил он, не удержавшись от нетерпеливой усмешки.

– Да нет уж – находилась! – скрипучим голосом возразила она сама себе. – Сынок, сбегай! А знаешь, что у меня к чаю?

– Что?

– «Лесная быль»!

– Ух, ты!





## 2. «Все гансы – жмоты!»

«Лесная быль» – мои самые любимые вафли, с вареньем внутри, удивительно вкусные! Но просто так их не купишь, даже в кондитерский магазин возле Бауманского метро их завозят редко. Лида, наверное, несколько раз специально забегала туда по пути из райкома, чтобы подгадать, добыть и сделать мне подарок к возвращению из пионерского лагеря. А я словно бы предвкушал: когда сегодня днем, горлая песню про «взвейтесь кострами, синие ночи», мы на автобусе, возвращаясь со второй смены, проезжали мимо «Бауманской», я подумал как раз про «Лесную быль» и даже ощутил во рту вкус этих дивных вафель. Хорошие у меня все-таки родители, только собаката часто. Но это разве ссоры, так, баловство...

Год назад наладчик Чижов (он въехал в комнату наложившего на себя руки Шутова) гонялся за женой с двустволкой, а она петляла по двору, под нашими окнами, и жутко вопила: «Караул!» Честно говоря, я раньше думал, в жизни «караул» давно не кричат, а только в книжках про мрачное царское прошлое. Оказалось, еще как кричат – орут! На Большой кухне потом говорили, что она «загуляла», и Чижов психанул. Это понятно: если я загуливаю с ребятами и опаздываю к ужину, мне тоже здорово достается. Но хорошо, что ружье было незаряженным, и наладчик сразу же отдал его участковому Антонову, приехавшему на мотоцикле с коляской, – поэтому и получил всего пятнадцать суток, а жена гостинцы потом ему в отделение носила. На кухне она всем объяснила, что ее оклеветали, но теперь у нас не ежовщина и она знает, с кем покататься за напраслину. С тех пор ее стали звать за глаза «Ежихой», а мужа, когда вернулся, – «Ежовым», а не Чижовым. Ружье у него Антонов, кстати, конфисковал до выяснения.

Я взял чайник и вышел за дверь. На площадке, отвернувшись друг от друга, курили Леня Бареев и Валера Калугин. Один сидел на перилах и внимательно следил за тем, как сизый дым, извиваясь, поднимается к лепному потолку, а второй, опершись локтями на ограду, смотрел вниз, на ступеньки, ведущие к парадной двери.

Они с детского сада были друзьями не разлей вода, вместе окончили школу шоферов на Чешихе, в бабушкином доме, потом работали на одной автобазе и вдруг стали врагами вроде бы из-за пустяка. Валера как-то заглох на дороге, а Бареев ехал мимо и даже не остановился, чтобы помочь товарищу: вроде как торопился доставить с базы в магазин скоропортящийся продукт... Но у водителей это такой же страшный поступок, как у разведчиков – бросить раненого товарища за линией фронта. Калугин при встрече сказал Лене, что он предатель, а тот как раз шел с девушкой, похожей на сердитую мышь. Бареев полез в драку и получил под дых. Их пытались помирить и Тимофеич, и дядя Коля Черугин, но безрезультатно. Они кивали, соглашались, что это глупая ссора, пожимали друг другу руки, выпивали в знак дружбы, но так и не сошлись снова. Потом шоферы переженились, и вот что интересно: их «половины», которые вроде бы не ссорились, тоже друг друга на дух не переносят, даже не разговаривают, стоят у одной плиты, плечом к плечу и молчат...

На Маленькой кухне тетя Валя Петрыкина низко склонилась над оцинкованным тазом. Увидев меня, она устало улыбнулась и махнула распаренной красной рукой, с которой падали клочья мыльной пены. Здесь у нас стирают, моют в корытах детей, а осенью по заранее составленному графику рубят капусту. На заводском грузовике привозят из колхоза и продают прямо из кузова во дворе белые скрипучие кочаны и крупную оранжевую морковь, вызывающую непонятный смех у одинокой фасовщицы Марфуши со второго этажа. Все это изобилие режут большими ножами, мельчат специальными сечками и складывают, пересыпая крупной серой солью, в дубовые бочки, которые хранятся в кладовой – бывшей дворницкой, внизу, под лестницей, слева от двери. Я, конечно, зимой тайком пробую из всех бочек, и самая вкусная капуста получается почему-то у Ежовых. Но наша тоже ничего – ядреная, с хрустцой...

А стряпают у нас на Большой кухне. Обычно здесь одновременно толкуются пять-шесть хозяек, но сейчас почему-то никого не видно, лишь на низком огоньке кипит, подрагивая крышкой и выбрасывая струйки пара, огромная алюминиевая кастрюля Калугиных: семья-то у них не маленькая. На Большой кухне одиннадцать столов-тумб, но на замочки закрыты дверцы только у Комковых и Бареевых. Имеются три газовые плиты с четырьмя конфорками каждая. Есть кран с раковиной. А на стенах в два ряда, как щиты в рыцарском замке, висят тазы и корыта. Второе справа в верхнем ряду – наше, в нем меня – сейчас в это даже трудно поверить – когда-то купали, а теперь моют моего младшего брата-вредителя Сашку...

Я оторвал от газеты «Правда» длинный клочок, свернул трубочкой, позаимствовал, не тратя спичку, огонек от горящей конфорки и зажег еще одну. Если налить чайник доверху и включить газ до отказа, вода закипает через одиннадцать минут. Я специально приносил будильник и засекал.

Теперь можно отлучиться. Тетя Валя уже развешивала отжатое белье на веревках: в основном девчачьи платица, мужские сатиновые трусы, голубые майки, черные носки. Комбинашки и лифчики сушить на людях хозяйки стесняются, делают это в комнатах или на чердаке. Лицо у Петрыкиной, после того, что случилось с Вовкой, безутешное, она даже осунулась и постарела.

Площадка опустела. Враги разошлись по своим комнатам, остались только наплывы папиросного дыма, но мне показалось, что и они клубятся как-то отдельно, не желая смешиваться. Я спустился в нижний туалет, который дядя Коля Черугин зовет «сортиром», Алексевна – «нужником», комендант Колов – «санузлом», а большинство – «уборной». Но над крашеной коричневой дверью прибит картонка с крупными буквами «ТУАЛЛЕТ». Одно «л» зачеркнуто. «Как в лучших домах Лондона и Парижа!» – смеется, бывая у нас в гостях, Башашкин. Там два отсека – мужской и женский, в каждом по две кабинки и по крану с облупившимися чугунными раковинами. Умыться и почистить зубы можно здесь, а также на обеих кухнях. Кроме того, на втором этаже тоже есть свой санузел, поэтому очередь выстраивается только рано утром, когда все спешат на работу.

Иногда в наш туалет, если зазеваается сторож дядя Гриша, забредают с улицы чужие. Они любят царапать на стенах разные глупости. Так, на перегородке мужского отсека давным-давно появился рисунок церковки с покосившимся крестом, а рядом надпись: «Нет в жизни счастья. Где моя жизнь? Пятнадцать лет в лагерях...» Дальше шли какие-то самодельные стихи, но я не запомнил. Мне показалось странным: какие пятнадцать лет, если в пионерский лагерь детей принимают только до девятого класса? Но Мишка Петрыкин объяснил: речь идет о зоне, а дядя Коля Черугин добавил: зона – это такая особая тюрьма на свежем воздухе, в лесу.

– Вроде пионерского лагеря? – уточнил я.

– Можно и так сказать.

– Из-за этого и названия одинаковые?

– Мозги-то у тебя работают! – похвалил он.

Еще время от времени на перегородках пишут разные нехорошие слова и рисуют голых женщин в непонятных позах, но дядя Гриша замазывает все это безобразие фиолетовыми чернилами, которые потихоньку отливает на почте в майонезную баночку.

В женском отсеке другая проблема. Там в перегородке все время кто-то проверчивает дырочки. Мальчикам лет до десяти негласно разрешается заходить в кабинки под буквой «Ж», и я заметил: после того, как дядя Гриша затрет очередное отверстие алебастром, рядом вскоре появляется новая дырочка. Лида, однажды вернувшись снизу, пожаловалась, мол, кто-то за ней подглядывал, во всяком случае, в свежей дырочке мигал чей-то любопытный глаз. Тимофеич вскипел, схватил молоток и ринулся было в туалет – на расправу, но она его удержала: носить отцу в зону передачи ей явно не хотелось. Женщины судачили, гадая, какой же гадемыш за ними подглядывает, и сходились на том, что охальничает кто-то из своих, скорее всего,

Лешка Головачев со второго этажа – странный двадцатилетний парень, тунейдец с бегающими глазами, слюнявыми губами и трясущимися руками. Но сказать об этих подозрениях матери Головачева – заслуженной мойщице – никто так и не решился. Правда, Ежов однажды подбил ему глаз, вроде бы просто так, но жаловаться участковому Антонову не стали. Все дружно сказали: «За дело!» А Лешкина мать ходила к Ежихе просить прощения...

...Когда я вернулся на Большую кухню, там хозяйствовали глухонемая тетя Вера Калугина и беременная Маша, ее невестка. Или сноха – все время путаю. Первая резала, плача, лук, а вторая чистила синюю прошлогоднюю картошку. Наш коричневый чайник стоял на конфорке без огня. Тетя Вера знаками показала, что вода уже вскипела, а Маша повторила вслух, хотя я и так все понял, ответив:

– Спасибо!

– Не за что!

Потом тетя Вера, нарочито шевеля губами и мелькая пальцами в воздухе, о чем-то меня спросила.

– Ты из пионерского лагеря вернулся? – перевела Маша.

– Ага!

– Грибы есть?

– Белые!

– Ого! Надо сказать в завкоме, чтобы автобус выделили на воскресенье! Поедешь?

– Конечно! Когда с юга вернусь.

– Куда собрались?

– В Новый Афон.

– Это где?

– Под Сухуми.

– Здорово! – вздохнула Маша.

Я обернул горячую ручку полотенцем и понес чайник к столу. Интересно, что дядя Гена и тетя Вера Калугины с детства глухонемые, а вот их сын Валера – абсолютно здоров и женился тоже на нормальной. Так бывает. Интересно, какой ребенок у них родится? Они сами еще не знают и жутко переживают. В журнале «Здоровье» написано: все зависит от того, как «срабатывает механизм наследственности». Мне вообразилась такая картина: я родился немым, и Шура Казакова ради того, чтобы дружить со мной, выучила специальную азбуку, которую печатают на картоне с помощью пупырышков. И вот мы с ней гуляем по саду имени Баумана, весело разговариваем, нарочито шевеля губами и складывая в воздухе из пальцев разные фигуры, а все вокруг смотрят на нас и восхищаются. Но потом советская наука делает открытие, и меня полностью вылечивают, мы теперь можем говорить, как все нормальные люди, а глухонемую азбуку используем для наших секретов, особенно в присутствии родителей и выпендрейника Вовки Соловьева.

Пока я отсутствовал, в нашей комнате ничего не изменилось. Только на столе появились чашки и заварочный чайник, а также вазочка с «Лесной былью». Судя по выдвинутому из-под кровати чемодану, попытка отъехать на Чехию уже предпринималась, но не удалась. Как дети! Опера продолжалась. Звук снова включили. Пел хор:

*...Стой, пленник не уйдет от нас!*

Лида на этих словах как-то интересно повела плечом, отчего отец побурел и буркнул, глядя на меня:

– Тебя за смертью посылать!

– Ребенок тут ни при чем! Одни рюмки на уме! Лучше бы посмотрел, в чем сын ходит!

– Слава богу, не голый!

– Вот именно!

Мать перехватила у меня горячую ручку и залила черную заварку кипятком, а потом накрыла фаянсовый чайник куклой-наседкой, которую бабушка Маня сшила из лоскутков.

– Юр, курточку померь, пока заваривается! – попросила маман.

– Зачем?

– Мала уже, наверное?

– Нормально.

– Не спорь! Растешь, как бамбук.

Больше всего на свете не люблю стричься и наряжаться. В новой одежде я кажусь себе глупым, нелепым и смешным. Однажды мы всем классом ходили в театр на «Синюю птицу». Лида заставила меня накануне постричься и надеть новый пиджак с приподнятыми плечами, которые взрослые единодушно называли «последним писком моды». В результате Вовка Соловьев сказал, что я выгляжу как болван, а Шура Казакова громко и обидно расхохоталась, объявив, что кресло рядом с ней занято Диной Гапоненко.

Другое дело – старая, добрая одежда, или, как говорит бабушка Аня, «одежа»!

Курточку я брал с собой в пионерский лагерь, но даже не доставал из чемодана: июль выдался жаркий, и нас трижды за смену водили на Рожайку купаться. В последний раз я надевал ее в конце весны, когда похолодало и зацвела черемуха. Куртка из вельвета с медными тисненными пуговичками и накладными карманами. За ней маман четыре часа стояла в магазине «Одежда», что в Гавриковом переулке, возле парикмахерской и «Похоронных принадлежностей». Удивительные люди взрослые, особенно женщины, они помнят не только где, что и за сколько купили, но и то, как долго промучились в очереди за товаром. Увидят на ком-то обновку и спрашивают, где достали, а потом сразу: и сколько же простояли?

Я нехотя надел куртку, и Лида ахнула: рукава, которые весной чуть приоткрывали запястья, стали теперь до смешного короткими. Неужели я так вырос всего за два месяца?!

– Миш, посмотри, – примирительно попросила она. – Ну, просто верста коломенская!

– Интересно, в кого? – не отрываясь от телевизора, хмыкнул Тимофеич.

– В парня одного! – Лида поджала губы и отвернула манжеты куртки. – И отпустить-то совсем нечего. ГДР. Немцы всегда так шьют. Впритык. У наших-то обязательно есть подворот сантиметра три-четыре.

– Все гансы – жмоты, – понимающе кивнул отец. – Еще комрады называются!

– Меряй теперь штаны!

– Заче-ем! – взныл я.

– А ну без разговоров!

Пришлось снять треники и натянуть пегие техасы с заметной заплатой на коленке, которую поставила бабушка Маня, отпороз задний карман.

– Да что ж это такое! – всплеснула Лида руками. – Прямо Жак Паганель какой-то!

Я опустил глаза и обнаружил, что брючина не достает даже до косточки, по которой всегда так больно меня «подковывают», когда мы играем с ребятами в футбол.

– Минь, ты посмотри! – Обращение «Миня» означало предложение полного и безоговорочного мира в семье.

– Чистый клоун! – буркнул отец, на миг оторвавшись от экрана, где князь Игорь уже пустился в бег.

Лида встала на колени и отогнула штанину:

– Ну вот, другое дело! Сразу видно наши – «Можайская фабрика». Тут есть что отпустить. Сезон как-нибудь доходишь. Но ты их так загваздал, что только по двору собак гонять или в плитах лазить. На людях показаться стыдно. Минь, вам премию не обещали?

– Нет.

– А что так?



– Не заработали.

– И нам тоже не дают пока. Ладно, возьму в кассе взаимопомощи, – вздохнула она. – Надо в «Детский мир» ехать, а то Валька засмеет, скажет, ребенка одеть нормально не могут.

– Пусть своего сначала заведет, а потом уже смеется! – нахмурился отец.

Детей у тети Вали и дяди Юры нет. Когда я был совсем маленьким, то часто их спрашивал, почему они не хотят завести мальчика или девочку. Тетя Валя, услышав такой вопрос, сразу огорчалась и, не отвечая, отворачивалась, а Башашкин весело рассказывал, как они несколько раз делали предварительные заказы в специальном отделе «Детского мира», где распределяют младенцев в семьи. Им присылали открытки, они бежали туда с утра пораньше, но едва подходила их очередь, дети заканчивались, как копченая колбаса в гастрономе. Это потому, объяснял Батурин, что советское плановое хозяйство не успевает за ростом потребностей населения.

– За твоим языком оно не успевает! – ворчала тетя Валя.

– А где там такой отдел? – простодушно интересовался я.

– В самом низу.

– Там, где велосипеды и педальные машины продают?

– Точно!

С тех пор каждый раз, когда мы приезжали в «Детский мир», я канючил, чтобы мне показали секцию, где выдают родителям детей, но этот отдел, как уверяла Лида, был постоянно закрыт то на прием товара, то на дезинфекцию, то на переучет младенцев. Потом я вырос, поумнел, понял в принципе, откуда берутся дети, и перестал искать «распределитель». А Лида проговорила как-то, что Валька в молодости набедокурила, не стала обращаться к врачу, пошла к какой-то бабке и вот теперь расплачивается...



Под плач Ярославны я перемерил весь свой гардероб, почти все, за исключением трусов и маек, оказалось категорически мало.

– Минь, это катастрофа!

– Я после войны в одних шароварах и рубаше на шнуровке ходил. Помнишь?

– Помню, – кивнула, светлея лицом, Лида.

– И ничего – жив.

– Но сейчас-то не разруха! Засмеют ребенка... В чем же тебя на юг отправлять? – нахмурилась она. – Вот беда-то!

Удивительные люди взрослые, они начисто забыли, что смеются над дурацкими обновками, а старую, испытанную одежду уважают, заплатки украшают штаны, как шрамы лицо пирата!

– Ладно, Паганель, теперь школьную форму надевай!

– Да ну ее...

– Два раза повторять не буду!

Я безропотно двинулся к шифоньеру и открыл скрипучие створки. Отец при этом равнодушно зевнул и отвернулся: форма висела рядом с его зимним пальто. Я нарочито долго искал ее в надежде, что родителям все это надоест.

– Быстрее, не спи на ходу! – погоняла Лида.

В пиджак мне удалось влезть с большим трудом.

– Жуть! – прошептала она. – Минь, ты видишь, как вымахал?

– Не слепой.

– Значит, так, – объявила парткомовским голосом маман. – Завтра точно едем в «Детский мир».

– Может, потом, когда с юга вернется? – усомнился отец.

– Правильно, потом, потом... – подхватил я.

– Почему – потом?

– Я же за месяц могу еще вымахать!

– Аргумент! – кивнул Тимофеич.

– Чепуха! Они же тридцатого возвращаются. Представляешь, что будет твориться в магазинах перед учебным годом?

– Представляю. Можно потом купить, через недельку, когда все успокоится.

– Чтобы мой сын в таком виде явился в школу первого сентября?! – вскипела Лида. – Никогда! Заодно завезем Вальке желатин.

– И где достала?

Взрослые почти никогда не говорят «купил», а исключительно – «достал», реже – «оторвал», порой – «взял», иногда – «добыл». Есть еще слово «скоммуниздил», но оно неприличное.

– С «Клейтука» привезли, – сообщила маман.

– Несуны? – сквитался отец, криво усмехнувшись.

– С ума сошел? У них в буфете официально сотрудникам собственную продукцию продают. Ты бы Анне Павловне тоже завез. Я ей давно обещала. И мать заодно проведаешь!

– Посмотрим... Не знаю... Отстань...

Лида говорит, что Тимофеевич – человек волевой, но безынициативный, а она, наоборот, инициативная, но безвольная. Впрочем, порой, как сегодня, маман проявляет невиданную твердость духа, не позволяя отцу хлопнуть лишнюю рюмку...

Довольно долго мы пили чай в тягостном молчании, за это время князь Игорь успел добежать до Руси и обнять Ярославну. Лиду это долгожданное свидание и особенно слова «здравствуй, здравствуй, мой желанный!» взволновали, она посмотрела на нас влажными глазами и вздохнула:

- Какая все-таки отличная опера!
- Балет лучше, – буркнул отец, с отвращением наливая себе чая.
- Может, воду подогреть?
- Обойдусь.

Я, наверное, уродился в мать, которая не умеет выдерживать характер, хотя всякий раз клянется, что первой никогда не запросит мира. Ха-ха! Мне тоже приходилось ссориться с Шурой Казаковой, и хотя всякий раз перепалку начинала она, я не выдерживал и предлагал снова дружить. Однажды, незаметно взяв ее тетрадку по русскому языку, я потом догнал одно-классницу на выходе из школы и вернул, мол, лежала на полу, наверное, соскользнула в щель, когда поднимали крышку парты.

- Неужели? – удивилась она и пронзила меня своими зелеными глазами.

В телевизоре тем временем народ ликовал по поводу возвращения князя Игоря домой. Странно, ведь он, собственно говоря, эксплуататор! В СССР так радовались, наверное, только по поводу прибытия Юрия Гагарина из космоса. Вдоль всей улицы Горького стояли толпы счастливых людей и засыпали открытую машину цветами... Тогда телевизор был только у Коровяковых, и все общежитие набилось в их просторную комнату, чтобы посмотреть, как Гагарин идет по ковровой дорожке к Мавзолею.

«Здравствуй, батюшка, ты князь жела-а-а-нный на-а-а-а-а-ш!» – пропел народ, гурьбой высыпав откуда-то и заполнив всю сцену. Я подумал, что в Большом театре народу, наверное, работает не меньше, чем на нашем Маргариновом заводе. А то и больше!

Наконец сошелся занавес – и опера кончилась.

### 3. После продолжительной болезни

На телеэкран под звуки бодро-поступательной музыки выкатился, словно колобок, земной шар – и началась программа «Время». По вытянутым лицам Кириллова и Шатиловой я понял: в мире случилось что-то нехорошее, скорее всего, снова американская военщина насвинячила. Обычно же наши дикторы появлялись на экране радостные, словно их распирало от хороших новостей: запустили еще один спутник, открыли новую фабрику, засыпали в закрома родины тонны пшеницы, выдали на-гора угля без счета... А тут: лица хмурые, губы поджаты, глаза потуплены...

– Кто-то умер! – ахнула Лида.

– Почему? – удивился я.

– У Кириллова черный галстук. А у Шатиловой платье темное и бус никаких. А бусы-то она любит!

– Брежнев вроде еще молодой, рановато ему... – засомневался отец.

– Типун тебе на язык!

– Может, Косыгин? – предположил я: фамилии прочих руководителей мне запомнить пока еще не удалось.

– Помолчи! Мал еще. В школе, смотри, что-нибудь такое не ляпни...

Между прочим, во втором классе я, услышав вечером по телевизору, что в Америке застрелили президента Кеннеди, наутро явился в класс и первым делом спросил нашу учительницу:

– Ольга Владимировна, а вы слышали, Кеннеди убили?

– Как убили? Почему? Не может быть! Откуда ты знаешь?

– По телевизору сказали.

– Надо же, – огорчилась она. – Такой молодой и симпатичный! Пропустила. Совсем с вашими тетрадками зарылась, забыла новости посмотреть...

Еще долго потом меня переполняла гордость: я смог сообщить учительнице что-то такое, чего она еще не знала!

На следующий год, услышав по радио, что сняли Хрущева, я наутро загодя примчался в школу и с порога закричал:

– Ольга Владимировна, а вы слышали, Хрущева-то сняли! За волюн... волюн...

– Юра, не надо кричать! – улыбнулась она, озираясь. – За волюнтаризм. Про это все уже знают. Садись!

Потом я это слово накрепко запомнил, так как дядя Юра с тех пор все время повторял: «Я волюнтарист. Как Валюшка скажет, так и будет!»

Нехорошие предчувствия подтвердились.

«...С прискорбием извещают, что сегодня на семьдесят втором году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся военачальник, полководец Победы, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кандидат в члены ЦК КПСС, член Верховного Совета СССР Константин Константинович Рокоссовский...»

Меня всегда удивляло выражение «ушел из жизни», словно жизнь – это какая-то проходная комната: посидел, встал и ушел...

– Мать честная! – крикнул отец.

На экране появился портрет усопшего полководца в черной рамке: лицо в жестких складках, стальной взгляд, строгие брови, короткие седые волосы, а широкая маршальская грудь так плотно увешана наградами, что почти не видно мундира.

«Константин Константинович Рокоссовский родился в городе Великие Луки в 1896 году в семье рабочего-железнодорожника...»

– А что главней – орден Победы или Звезда Героя? – задумчиво поинтересовался я, рассматривая награды покойного, хотя ответ на этот вопрос был мне прекрасно известен.

– Конечно, Орден Победы! – ответил Тимофеич.

– Он весь в бриллиантах, – добавила Лида.

– А почему? – глуповато уточнил я, пытаюсь вывести отца из бирючьей хмурости.

Взрослые, когда отвечают на глупые детские вопросы, всегда почему-то добреют, преисполняясь глубокого самоуважения.

– Эх ты, почемучка с ручкой! – улыбнулся он, попавшись на удочку. – Сколько у нас в стране Героев Советского Союза?

– Много. Тысячи...

В первом классе я начал собирать портреты героев, которые печатались на отрывных страничках настенных календарей – численников. Все в общежитии знали о моем увлечении и не выбрасывали листочки, где, кроме изображения, имелись еще даты жизни и краткое описание подвига. У меня скопилось сотни полторы листочков, я расположил их в алфавитном порядке, поместив в длинную коробку из-под овсяного печенья, – и получилось нечто вроде библиотечного ящика с карточками. Я по наивности надеялся собрать в конце концов имена всех до единого, но когда наша учительница истории Марина Владимировна объяснила, что Героев Советского Союза у нас больше десяти тысяч, я немного остыл, хотя листки численников по привычке продолжал собирать.

– Правильно – тысячи, – кивнул, подобрев, Тимофеич, – а орденов Победы сколько?

– Мало.

– То-то и оно! Поэтому орден Победы самый главный!

– Наверное, рак у него был... – вздохнула Лида. – Как у Санятки...

Санятка, мамин двоюродный дядя, умер три года назад, но на похороны меня не взяли. Тетя Валя, навещавшая его в больнице, предупредила: страшное зрелище, детям лучше не смотреть!

– У Рокоссовского рак? – спросил я, удивляясь неожиданному созвучию.

– Конечно! Если рак, всегда объявляют: «После долгой продолжительной болезни...» А если говорят: «скоропостижно», значит – сердце, инфаркт, – подтвердила маман.

– А если «трагически ушел из жизни», значит, руки на себя наложил, – мрачно добавил отец.

– Или в аварию попал, как композитор Долуханян, – вздохнула Лида.

– Если авария, тогда говорят: «трагически погиб», – возразил Тимофеич.

– Нет, если «трагически погиб», значит, был на посту...

– Если на посту, тогда: «героически погиб, выполняя долг...» – Его лицо побурело: он терпеть не мог, когда с ним спорили.

– А помнишь, Гагарин в марте разбился, ни про какой «долг» по телевизору никто не говорил! – сварливо возразила маман.

...Когда по радио сказали о смерти Гагарина, я был дома один и сначала решил, что ослышался, но потом понял: это правда, и, заплакав, побежал по общежитию, чтобы всех оповестить. На Маленькой кухне стирала Ежова. Я крикнул ей, что первый космонавт погиб. Она не поверила и даже замахнулась на меня мокрой наволочкой: думала, дурачусь. Потом заметила мои слезы и тоже разрыдалась...

– Почему про «долг» не сказали? – противным голосом повторила свой вопрос Лида.

– По кочану! Кулема!

– ...А ты... ты мартовский... отпускник!

– Что-о?!

Мне показалось, будто «чешихинский» чемоданчик сам, словно предлагая себя в дорогу, выдвинулся из-под кровати.



Ну просто как дети!

– А кто был главней на войне – Рокоссовский или Жуков? – с глуповатой пытливостью спросил я, рассчитывая этим дурацким вопросом снова отвлечь отца от назревающей ссоры.

Наши мужики за домино часто спорят, кто выиграл войну: Сталин, Жуков или другие маршалы. Они говорили почему-то «маршала́» с ударением на последнее «а»... Кричат до хрипоты, все их аргументы и доводы прекрасно слышны в нашей в комнате, так как стол и скамейки у нас под окнами.

– Ну, ты, сын, сравнил! – Тимофеич окинул меня всезнающим взором и опять подобрел. – Конечно, Жуков! Но и Рокоссовский – это тебе не хухры-мухры. Маршал Победы, слышал, что сказали? Другая жена налила бы помянуть...

Последние слова были произнесены мечтательно, насмешливо и куда-то вдаль, без всякой надежды на осуществление, однако вызвали отклик. Маман сочувственно кивнула, молча достала из холодильника и поставила перед отцом бутылку, в которой, как золотые мальки, плавали мелко наструганные лимонные корки.

– Помянуть – совсем другое дело. Это святое! Это можно...

– Есть такое дело! – просветлел Тимофеич.

Странные все-таки люди – взрослые. Абсолютно непредсказуемые. У дяди Коли Черугина есть рязанский родственник по фамилии Саблин, которому пить совершенно нельзя, так как он начинает буянить и может, к примеру, схватив нож, объявить, что вот сейчас на глазах у всех зарежется насмерть. Тогда на него по секретной команде наваливаются гурьбой все гости и вяжут полотенцами. Раз в год Саблин приезжает из Рязани на день рождения тети Шуры Черугиной, всегда трезвый, как стеклышко, в шляпе и галстуке. Нас тоже обычно приглашают по-соседски обмыть новорожденную. Кстати, мы тоже рязанские, и бабушка Аня, и бабушка Маня из тех же краев, но только из разных районов.

Из года в год происходит одно и то же. Тетя Шура просит Саблина выпить за ее здоровье одну рюмочку, но он, зная себя, наотрез отказывается, даже порывается уйти, но она настаивает, обижается, и рязанский родственник все-таки соглашается – пригубить, а вскоре уже мчится, выкатив белые глаза, на общую кухню, хватая первый попавшийся нож и угрожает немедленно зарезаться. Тогда его вяжут. Однажды Саблин, как обычно, рванув рубаху, при- ставил острое в груди и стал со всеми прощаться, но Лида увидела, что у него в руке наш новый хлебный нож, и строгим парткомовским голосом потребовала немедленно вернуть чужую собственность. Буян растерялся, покорно отдал нож и горько заплакал, как ребенок. Тогда его привычно связали полотенцами и унесли на диван.

– Пусть земля ему будет пухом! – Тимофеич торжественно поднес рюмку к губам, выпил и улыбочиво поморщился. – Как же ее пьют беспартийные?!

Это у них шутка такая. Смысл в том, что водка – настолько отвратительная гадость, что употреблять вовнутрь ее отваживаются только коммунисты, которые всегда готовы к подвигу и самопожертвованию: в фильмах про войну они выносят пытки гестаповцев без единого стоны и плюют в лицо врагам. Водку я один раз из интереса пробовал (осталась на доньшке в рюмке) – горькая, невозможная дрянь, от которой перехватывает дыхание, и пить ее я не собираюсь, даже когда вырасту. А вот советское шампанское с серебряным горлышком – совсем другое дело, оно сладкое и газированное, точно лимонад, да еще открывается с таким хлопком, словно бабахнул пугач. Но стоит оно почти три рубля. Дураку ясно: лучше выпить тринадцать бутылок «Дюшеса», чем одну шампанского...

После ужина отец ушел вниз «забивать козла». Лида убрала со стола посуду, вынула из комода жестяную коробку со швейными принадлежностями и села отпускать мои старые техасы, чутко прислушиваясь к тому, что происходит под нашим окном. Едва уловив среди стука костяшек подозрительный лязг стекла, она отложила рукоделье, легла грудью на широкий мраморный подоконник, глянула вниз и погрозила пальцем:

– Значит, все-таки распиваете?

– Не волнуйся, Ильинична, мы маршала поминаем, но только пивком! – слышался виноватый голос Петрыкина.

– Витя, мне сверху видно все, ты так и знай! – парткомовским голосом предупредила Лида и вернулась к штанам, обнаруживая на них все новые прорехи, пятна и потертости.

– Это надо ж так угвздать портки всего за год! – возмущалась она.

Решив не напоминать ей, как она опрокинула на светлое выходное платье противень с треской под майонезом, я тихо занялся моими рыбками.

Пока я набирался сил и бодрости в пионерском лагере, аквариум сильно зарос, заилился и замусорился, но вода осталась на диво чистой и прозрачной с «приятным озерным запахом», как написано в книжке «Подводный мир дома», а значит, «мы имеем дело с природным равновесием, установившимся в отдельно взятом искусственном водоеме, к чему должен стремиться каждый рыбовод-любитель».

Аквариум у меня небольшой: всего-навсего полтора ведра. Рыбок тоже немного: гулли-вуалехвосты – три самца и две самочки, по паре: радужные меченосцы, полосатые барбусы, голубые гурами и еще неразлучная троица калихтовых сомов, роющих усиками в донном иле, изредка взмывая к поверхности – глотнуть, видимо, свежего воздуха. Были еще синие петушки, но сдохли один за другим. Неживучие они какие-то!

Конечно, я давно мечтаю о другом аквариуме – ведр эдак на пять. В зоомагазине такие не продаются, зато на Птичьем рынке, возле стены, можно найти любые емкости: круглые, квадратные, совсем плоские с крючками, чтобы вешать на стену вместо картины. Есть там крошечные, чуть больше отцовской манерки, садки для перевозки мальков. А рядом продаются огромные аквариумищи, в которых можно держать хоть карпов и сомов, как в рыбной секции 40-го гастронома. Все это, конечно, самодел, но качественный, считает дядя Юра. «Рукастый у нас народ! – говорит он. – Но прежде, чем купить, пощупай!»

Я присмотрел себе за двадцать восемь рублей отличный аквариум на полсотни литров, по форме он напоминает средней величины чемодан, с каким Тимофеич все время норовит отъехать на Чешиху. Каркас клепанный из нержавеющей стали, а стекла посажены на эпоксидку. Башашкин обещал подарить мне его на день рождения, если хозяин сбросит пятерку, считается, на рынке покупать, не торгуясь, – преступление. Всякий раз, бывая на Птичке, чтобы взять свежего корма – трубочника и мелкого мотыля, я проверяю, на месте ли еще мой аквариум. На месте. Видимо, цена в самом деле великовата, коль никто не берет. Подхожу – шупаю. Хозяин посмеивается, говорит, что и на каркас без стекол покупатель рано или поздно найдется.

На Птичий трамвай ползет через Таганку примерно полчаса, и наконец водитель веселым голосом объявляет: «Следующая остановка – птичий, рыбный, кошачий, собачий, хомячий, крольчатый, свинчатый рынок!» Наверное, он имеет в виду морских свинок. Там и в самом деле там есть все: черепахи, попугаи, щенки, котята, ангорские кролики, красные тропические тритоны, белки, ежи, ужи, даже удавчики. Но мой друг Василий, продавец-консультант магазина «Зоотовары», ползучую живность брать в дом не рекомендует – опасно.

Ходить по Птичке и глазеть можно целый день, но я направляюсь прямо в рыбные ряды, которые особенно впечатляют в зимнюю пору. Вокруг высокие сугробы, заснеженные деревья, с карнизов свисают сосульки, все продавцы в валенках, тулупах, ушанках и рукавицах, изо ртов валит пар, а в плексигласовых аквариумах, стоящих, словно мольберты, на ножках, плавают яркие тропические рыбки: «неоны», похожие на блестки, алые мечехвосты, плоские скалярии, напоминающие резные листики из гербария...

Но особенно я люблю смотреть на золотых вуалехвостов: взрослые величиной с хорошего карася, а хвост, словно длинная розовая фата, извивается в воде, заполняя все стеклянное пространство. Они пузатые и неторопливые, словно цари подводного мира. Подрощенный малек, уже пустивший вуаль, стоит целых три рубля! Молодь брать не стоит, могут подсунуть

обычного карася. Но в моем аквариуме такой машине делать нечего. Нужен большой, и я терпеливо жду.

Зимой продавцы на электроплитках, подключенных к автомобильным аккумуляторам, греют воду и понемногу подливают, чтобы теплолюбивые существа не замерзли. Выбранную покупателем рыбку они ловко вылавливают сачком и мгновенно выпускают в баночку, которую тут же следует спрятать за пазуху и так везти, иначе дома обнаружишь ледышку. Сами продавцы греются чаем, от которого сильно пахнет коньяком или ромом. Однажды после Нового года дядя Юра поехал со мной на Птичку, заранее хорошо раскошегарившись. Бродя меж рядов, он весело задирает продавцов:

– Что ж у вас, мужики, какая-то синяя килька стоит дороже севрюги! ОБХСС на вас нет!

Они сердились, объясняли, что сапфировую рыбку доставили прямиком с Амазонки и что добиться от нее потомства труднее, чем закадрить Аллу Ларионову!

– Знаем мы вашу Амазонку! Яузой она называется. А посинела ваша салака оттого, что туда разную химическую дрянь все время сливают...

Тут продавцы просто озверели, стали Башашкин гнать, обзывая всякими словами, а он, смеясь, шел дальше, в другие ряды, чтобы расспросить, как лучше готовить трогательных мохеровых кроликов – тушить, вялить или жарить... Смехотура! Там его чуть не побили. Жаль, что в пересменок я не успею съездить на Птичку. Впрочем, Лида все равно отказывается в мое отсутствие давать рыбкам живую пищу, называя трубочника и мотыля «червяками». Интересно, что бы она запела, если бы ей давали только концентраты Пищекомбината!

Насыпав в плавающую стеклянную кормушку шепотку сушеных дафний, я обнаружил, что корма осталось на доньшке железной банки и до моего возвращения явно не хватит. Некоторые идиоты в таких случаях начинают кормить рыбок хлебом, а это конец питомцам.

Приводя хозяйство в порядок, я первым делом заостренной деревянной лопаткой счистил зеленый бархатный налет, которым заросли изнутри стекла. В этот момент, наверное, для обитателей будто открылся театральный занавес, а когда я включил рефлектор, подводный мир совсем стал похож на освещенную сцену. Быстро похватав корм, рыбки собрались, вращая плавниками, перед стеклом, словно бы с удивлением рассматривая меня. А вот интересно, знают ли они мое лицо, могут ли отличить, скажем, от вредителя Сашки? И о чем думают, глядя на меня? О чем беззвучно перешептываются?

Размышляя об умственных способностях рыбок и вообще всякой живности, я сифоном (это стеклянная трубка с утолщением посередине) собрал со дна накопившийся ил, потом, опустив в воду руку, отщипнул пожелтевшие листья валлиснерии и роголистника, хотел еще проредить элодею, сильно разросшуюся, но передумал: благодаря растениям, обогащающим воду кислородом, можно обходиться без продува. А компрессор у меня кустарный, сделанный из обычной футбольной камеры. Она накачивается с помощью груши от пульверизатора, и воздух из раздувшегося резинового шара по длинной трубке через распылитель, выточенный из пемзы, попадает в воду, превращаясь в облако крошечных пузырьков, красиво сверкающих в лучах рефлектора.

Правда, накаченного воздуха хватает часа на три, потом снова минут десять надо «давить грушу». Но Сашка еще весной проткнул камеру иголкой. Вредитель! По уму, купить бы за шесть рублей настоящий электрический компрессор, он чуть больше майонезной банки, а гудит не громче комара. Но о такой роскоши я даже не мечтаю, так как печатать деньги пока еще не научился и клад, как Том Сойер, не откопал. Надо бы, наконец, заклеить камеру заплаткой из аптечки велосипедиста...

М-да, аптечка-то у меня есть, а велика нет. «Школьник», из которого я давно вырос, отдали, а вот «Орленок» никак не купят, хотя давно обещали. Весной уже собрались было в «Детский мир», и вдруг Лида посмотрела на меня, словно впервые увидела:

– Сынок, тебя же все лето в Москве не будет. Зачем сейчас велосипед покупать? Ну, согласишься, это нерационально. Все равно будет стоять без дела.

Нерационально! Ха-ха! Не зря же она у нас член бюро рационализаторских предложений! А когда я вернусь из Нового Афона, Лида снова поглядит на меня и задумчиво заметит, что скоро зима, поэтому с велосипедом можно подождать до весны. Потом вдруг окажется, и «Орленок» для меня уже маловат... Морочат детей! А ведь ребенок без велосипеда – это как буденновец без лошади.

Я достал из письменного стола пластмассовую коробочку велоаптечки и громко, в сердцах задвинул ящик.

– Сынок, ты что собираешься делать?

– Камеру заклеивать.

– Зачем?

– Компрессор не работает.

– Успеешь. Ты вот что...

И она «не в службу, а в дружбу» отправила меня проверить – освободилась ли Маленькая кухня. Узнав, что там уже никого нет, Лида сложила в таз мои грязные вещи, привезенные из лагеря, пошла к двери, но на пороге оглянулась:

– Потом заклеишь. Сначала сходи на завод – ополоснись. Завтра некогда будет. Поедем в «Детский мир».

– В спортивный отдел зайдём?

– Зачем?

– У меня же маски нет. И ласт.

– А у меня денег!

– Ясно, мамочка! – ответил я, вкладывая в последнее слово всю горечь обездоленного детства.

– Вот и хорошо, что ясно! После душа переоденься в чистое. Вас в лагере-то хоть мыли?

– Раз в неделю.

– Не заметно. Я тебе мыло детское купила, чтобы глаза не щипало. Дверь не захлопывай, поставь на «собачку».

– Рыба! – донеслось со двора.

– Хорошо вам, мужчинам! Никаких забот... – упрекнула меня Лида, хотя в домино стучал не я, а взрослые дядьки.

Вздохнув, она достала из выдвижного ящика красно-желтую коробку порошка «Новость» и, уперев таз с бельем в бок, ушла на Маленькую кухню. Не любит маман стирать, но особенно – гладить. А что поделаешь – супружеские обязанности!



Кстати, в последнее время я стал как-то стесняться слова «мама», а уж «мамочка» — и подавно. Даже в уме я их избегаю, тем более — вслух. Есть, есть в них какая-то сюсюкающая нарочитость, недостойная человека, перешедшего в седьмой класс. Терпеть не могу ровесников, которые чуть что благодарно бросаются предкам на шею со всякими там слюнявыми «папочка-мамочка»! Смотреть противно! Я тоже люблю родителей, но позориться-то зачем? Как-то по телеку показывали комедию «За двумя зайцами», там дочка постоянно повторяет: «Маман, маман, маман...» С тех пор я стал про себя звать Лиду — «маман». Конечно, если бы она узнала про это прозвище, то жутко бы обиделась, даже по лбу мне дала бы, как за вопрос о специальной парикмахерской. Но мысли, к счастью, бесшумны, как рыбки в аквариуме...

## 4. Мы идем в баню!

Я отыскал в гардеробе чистые трусы с майкой, завернул их в вафельное полотенце, ломкое от крахмала, а потом, сам не знаю зачем, переложил отцову манерку из зимнего пальто в боковой карман плаща. Ничего, пусть поищет! Если бы не его настырная любовь к «троице», меня не заставили бы сегодня мерить все мое барахло!

Щелкнув «собачкой», чтобы не захлопнулась дверь, я направился в заводской душ.

На площадке возле перил краснолицый дядя Коля Черугин в полосатой пижаме, едва сходящейся на тугом волосатом животе, делал, отдуваясь, вечернюю гимнастику – от бессонницы, радикулита и давления: таблетки он называл «химией» и принципиально не принимал ничего, кроме аспирина и валерьянки. Дядя Коля, почти как «маленький лебедь», плавно поднимал и опускал руки, потряхивая кистями и шумно дыша. Перед работой он тоже всегда делает зарядку. Ласково-бодрый голос объявляет по радио: «Доброе утро, товарищи! Начиная утреннюю гимнастику. Ноги – на ширине плеч, руки – на уровне груди, спина прямая...»

– Брал бы с соседа хороший пример! – говорит Лида. – У тебя тоже давление!

– Мне без надобности. Я у себя на заводе еще обмашусь и упрыгаюсь! – возражает Тимофейчик, который любит спорт только по телевизору, особенно футбол.

Увидев меня, дядя Коля заулыбался, кивнув на скатку:

– На помывку?

– Ага!

– Правильно. Чистота – залог здоровья! К Александре Ивановне загляни – не пожалеешь!

А под Сусаниным твои листочки дожидаются. Трех героев тебе оторвал!

– Спасибо!

За высокой двустворчатой дверью с витой медной ручкой был еще один обитаемый закоулок общежития: три комнаты, а также кухня с плитой и раковиной. Раньше мы жили здесь, в маленькой вытянутой комнатке, напоминавшей из-за высокого потолка плоский аквариум. Единственное окно выходило в переулок, прямо на Жидовский дом. Но после рождения Сашки нам дали другую площадь – вдвое больше, а в нашу прежнюю переехала со второго этажа одинокая Серафима Николаевна из отдела контроля качества. Она никогда не расстается с книгой, даже если готовит еду. Вот и сейчас: помешивает что-то в кастрюле и читает, не отрываясь. Сослуживицы и подруги, включая Лиду, все время хотят выдать ее замуж, но она смеясь отказывается, мол, не хочу отвлекаться от чтения, это гораздо интереснее, чем мужчины.

– Добрый вечер, Серафима Николаевна!

– Здравствуй, Юрочка! – отозвалась она, уткнувшись в книгу.

– Что читаете?

– «Три Дюма».

– Ого! А почему три?

– Ну как же: Дюма-дед, Дюма-отец, Дюма-сын.

– А «Три мушкетера» кто написал?

– Дюма-отец.

– Дадите почитать?

– Тебе еще рано.

Если взрослые говорят: «Тебе еще рано», – значит, книга и вправду стоящая.

– А я на Черное море послезавтра уезжаю!

– Счастливее! – ответила она таким голосом, что стало ясно: все курорты и пляжи Серафима Николаевна, не задумываясь, отдаст за одну хорошую книгу.

Слева от входа живет старуха Алексевна. Имени ее никто не помнит. Она «сумашедшая» – так выражаются, если человек еще не окончательно спятил, став полноценным сумасшедшим,

но уже «тронулся», вызывая озабоченность врачей и общественности. Когда-то она работала на заводе мойщицей, а потом сбрендил. Обычно дверь ее комнаты приоткрыта, чтобы мог свободно заходить черный кот Цыган и чтобы можно было вовремя обнаружить угрозу. На улицу Алексевна не выходит, опасаясь нападения. Обо всем, что творится снаружи, она подробно расспрашивает Цыгана, питающегося голубями. Я иногда бегаю на Бакунинскую – купить ей батон и бутылку молока, ничего другого она не ест. Но, честно говоря, стараюсь делать это пореже. Во-первых, Алексевна всегда очень долго отсчитывает деньги, так как в ее кошельке новые, старые и дореволюционные монеты перемешаны. Однажды она по ошибке вручила мне металлический рубль с профилем царя, я рассмотрел изображение и с неохотой вернул денежку. Во-вторых, хлеб ей всегда кажется черствым, а молоко вчерашним. В-третьих, Алексевна, принимая продукты, долго и нудно расспрашивает, какие подозрительные лица попались мне по пути туда и обратно. А главное – не видел ли я черный воронок с решетками на окнах... Какой напасти она постоянно ждет, никто не понимает, даже врачи.

Судя по тому, что сегодня дверь Алексевны плотно закрыта, – ее снова взяли в больницу, чтобы, как говорит дядя Коля, «подремонтировать мозги» и привести в порядок «шарики с роликами». Забирают ее примерно раз в год. Кот на это время перебирается к Черугиным, где кормят гораздо лучше, но едва хозяйку отпускают домой, Цыган мчится к ней – хвост трубой! Вернувшись, она долго всех расспрашивает, кто ее караулил и поджидал во время отсутствия. Узнав, что никто, подозрительно усмехается и грозит кому-то пальцем.

В углу – белая дверь Черугиных. Их зала выходит окнами и во двор, и в переулок. Сбоку в стене зияет прямоугольный лаз неработающего камина, его используют под склад банок с вареньем. Над камином, на черной каменной полке, застеленной кружевной дорожкой, стоят белые мраморные слоники – мал мала меньше... Когда я был маленьким, мне разрешали с ними играть, выстраивая по росту. В детстве родители, уходя в кино или в гости, нередко оставляли меня у Черугиных, и я норовил спрятаться в камине, за банками, затихал и слушал, как тетя Шура с дядей Колей нарочитыми голосами громко спрашивали друг друга: «Где же этот озорник? Куда запропастился? Ай-ай, надо срочно в милицию заявлять!» И тут я рыча выскакивал из ниши, как медведь из берлоги.

Ах, вот он, баловник, за вареньем лазил! Ладно, какого тебе положить с чайком?

– Клубни-и-ичного!

Я постучал в дверь и заглянул.

– А-а, Юрик, заходи! – слабым голосом пригласила хозяйка.

Тетя Шура, как обычно, полулежала на высоких подушках, укрывшись пышным стеганым одеялом. Кровать у Черугиных старинная, с высокими витыми металлическими спинками, увенчанными медными шарами, в которых отражается горящий абажур. Над постелью прибит бархатистый ковер с кошками, играющими в шахматы. На стене между окнами висят две большие фотографии в деревянных рамках: молодой худенький дядя Коля в военной форме с медалями на груди и юная тетя Шура с высокой двугорбой прической. У обоих напряженно-испуганный вид и чуть подкрашенные губы. Пол в зале дубовый, цвета темного янтаря, наощенный так густо, что подошвы прилипают и щелкают при ходьбе. У дяди Коли есть особая половая щетка с кожаной лямкой, вдев в нее ступню, он, словно танцуя по комнате, до блеска натирает паркет, мурлыча под нос:

*С ветвей, неслышен, невесом,  
Слетает желтый лист,  
Старинный вальс «Осенний сон»  
Играет гармонист...*

А тете Шура подпевает и указывает места, по которым надо пройти еще разок.

В зале повсюду разложены и развешены кружевные салфетки, дорожки и полотенца, а на стулья надеты серые льняные чехлы. Когда я по малолетству норовил забраться на сиденья с ногами, меня строго одергивали:

- Нельзя!
- Почему?
- Чехлы казенные.

Я не понимал тогда, что значит – «казенные», но сразу слезал со стула, так как из сказок знал, что такое «казнь». Все подоконники у Черугиных заняты горшками с цветами, а в дальнем углу в кадке растет высоченный фикус, доставая острием макушки почти до лепного потолка, будто новогодняя елка.

– Юрочка, съешь скорей слойку! – хозяйка кивнула на блюдо со сдобными плюшками, усыпанными сахарной пудрой. – Свежие. В обед спекла.

Тетя Шура раньше работала на конвейере в цеху у Лиды и перетрудила на производстве руку, поэтому ей дали инвалидность и рекомендовали покой, она к советам врачей отнеслась так серьезно, что с тех пор днями лежит в постели, поднимаясь лишь для того, чтобы дойти до гастронома и приготовить еду, а стряпает она очень вкусно, особенно хороши пироги с капустой и холодец со свиными ушками. В общезнании ее «постельный образ жизни» не одобряют и ворчат, мол, «Шурка-то совсем со своей больной рукой барыней заделалась, а Николай Никифорович при ней теперь, как слуга: принеси-подай!» Не знаю, не знаю, но возлежит на перине она, в самом деле, очень величественно, как царица, а дядя Коля, слушая ее поручения, почтительно кивает, повторяя: «Не волнуйся, Александра Ивановна, воплущу!»

– Как рука? – спросил я, осторожно взяв мягкую плюшку.

– Мозжит и немеет, – с глубоким уважением к своему заболеванию ответила она. – Наверное, в санаторий пошлют...

– Цыган у вас теперь?

– Спит, – тетя Шура показала здоровой рукой на шкаф, там, наверху, свернувшись клубком, спал кот, похожий на зимнюю шапку. – С утра дрыхнет, к дождю. Да и локоть ноет. Ильинична сказывала, ты в лагерях был?

– Да, – кивнул я, жуя сдобу.

– Как там?

– Котлован под бассейн вырыли.

– Опасное дело. С водой шутки плохи. У нас на Оке столько народу потопило. Жуть!

В комнату вошел бодрый после вечерних упражнений дядя Коля, накапал жене в рюмочку мятного лекарства и предложил мне партию в шашки, но я отказался, так как он всегда очень долго думает над ходами и страшно огорчается, проиграв.

– Слышали, маршал Рокоссовский умер!

– Да, великий был человек! Помню, вышли мы к Ломже, построили наш батальон перед штурмом. Пятьдесят танков – броня к броне...

– Николай Никифорович, поставил бы чайник, чем болтать! – строго попросила тетя Шура.

– Потом тебе дорасскажу. Поужинаешь с нами?

– Спасибо, мы уже...

– Листочки взял?

– Нет еще...

На буфете среди прочих фаянсовых фигурок, как в лесу, сурово озирался бородатый Иван Сусанин с топором, заткнутым за алый кушак. Ого! Целых три Героя Советского Союза в мою коллекцию: Рубен Ибаррури, Леопольд Некрасов и Виктор Вагин...

– Спасибо, дядя Коля! – Дожевывая плюшку, я поспешил к двери.



– А Витя-то в нашей бригаде воевал... – прерывисто проговорил Черугин. – Сгорел в танке... Беги, беги, потом дорасскажу...

...На улице стемнело. Зажглись фонари. Засветились, будто аквариумы, окна в домах. Зеленые кроны тополей почернели. Но небо над крышами еще не померкло, на розовом фоне отчетливо вырисовываются антенны: те, что для радио, – похожи на метлы, поставленные торчком, а те, что для телевизоров, напоминают буквы «Т». Воздух по-вечернему сгустился, острее стали запахи – тополиной горечи и подгоревшей гречневой каши. Лида говорит: главного технолога ПищекOMBината посадить надо за ротозейство!

Наш двор обнесен старинной кирпичной стеной, мы его делим с заводской столовой. Слева, за выступом парадного входа, под «грибком» мужики стучат в домино, слышны мощные удары костяшками по столу и прибаутки, вроде: «Тише, Дуся, я дуплюся!» Сумерки не помеха, игроки зажгли, повернув в патроне, лампочку, теперь по домам их может разогнать только объединенное возмущение сразу нескольких рассерженных жен.

Огромные, как в рыцарском замке, железные ворота, висающие на мощных скрипучих петлях и отделяющие двор от улицы, уже закрыты на длинный засов: наш сторож дядя Гриша постарался. Я вышел на улицу через калитку, тоже железную и тоже с засовом, но поменьше. Она вмурована в стену, такую толстую, что в проеме можно переждать самый сильный ливень. Наш Рыкунов переулоч, упирающийся одним концом в темно-красную кирпичную стену Казанки, а другим – в Бакунинскую улицу, уже пуст: ни одной машины. Рабочий день давно кончился – грузовики разъехались по гаражам. Даже «Победы» Фомина на пустыре не видно, тоже, наверное, укатил в отпуск – на море или в деревню.

Я подумал: хорошо бы выиграть в лотерею «Волгу» и, никому не сказав, забрать ее прямо из магазина в Гавриковом переулоч, сесть за руль, проехать медленно мимо школы, а потом остановиться во дворе Шуры Казаковой и громко, протяжно посигналить. Конечно, водить я еще не умею, да и машину никогда не выиграю: родители регулярно берут на сдачу в кассе билетик за тридцать копеек, и больше трешника им никогда ничего не выпадало. Но мечты для того и существуют, чтобы в них все случилось именно так, как не бывает на самом деле. И когда Шура, услышав гудки, с удивлением выглянет в окно, я вылезу из машины, подниму капот и буду стоять в задумчивости, одной рукой взявшись за подбородоч, а другой ероша себе волосы на затылке. Так обычно делает инженер Фомин, если снова ломается его «Победа» – единственный личный автомобиль на весь наш переулоч.

Выйдя за калитку, я свернул направо: низенькая проходная рядом, рукой подать – метров тридцать, не больше: сначала дверь столовой, потом заводские ворота, а за ними – дежурка, где всегда пахнет супчиком из горохового концентрата. Там, за стеклянным окошочком сидит охрана – кто-нибудь из вохровцев. У них темно-синие гимнастерки с зелеными петлицами, в которых блестят перекрещенные серебряные винтовочки. Но никакого оружия на самом деле у охранников нет. Пустые кобуры. В детстве меня это страшно беспокоило, но Лида объясняла: маргарин и майонез к числу стратегической продукции не относятся, поэтому табельные пистолеты вохровцам не положены.

Сегодня на посту Арина Антоновна, тучная старушка в надвинутом на седые пряди синем берете со звездочкой. Она дежурила, когда меня много лет назад впервые маман привела мыться в заводской душ, в женское – по малолетству – отделение. Мокрые работницы, поглядывая через низкие перегородки, добродушно посмеивались над моим «петушком», который когда-нибудь непременно превратится в орла! Лида на них сердилась, уводила меня в дальнюю кабинку и старательно терла намыленной жесткой мочалкой, сама всегда оставаясь в тонкой влажной комбинации...

Арина Антоновна на посту все время вяжет шерстяные вещи детям-внукам, и когда я, будучи любопытным детсадовцем, попросил ее показать мне свой наган, она засмеялась, мол,

оружие ей без надобности – она любого несуну или расхитителя социалистической собственности насмерть проткнет вязальной спицей. Зато Лида потом рассказала мне, что у Арины Антоновны есть медаль. Во время войны она собственноручно задержала, ранив в ногу, немецкого диверсанта, приземлившегося в Сокольниках. Он выпутывался из парашюта и не заметил, как подкрались наши...

Вохровка оторвалась от вязания, внимательно посмотрела на меня сквозь мутное стекло дежурки и спросила:

– Ты что-то давно у нас не мылся?

– В лагере был.

– А-а! Ну как там?

– Бассейн строят.

– Это хорошо! Я в молодости Москву-реку у Нескучного сада четыре раза туда-сюда без отдыха переплывала. На значок БГТО сдавала. В октябре!

– Вода, наверное, холодная?

– Как парное молоко. А дружок твой Мишка позавчера заходил. В деревню помытый убыл.

– Знаю.

– Вовка так и лежит?

– Лежит.

– Вот бедолага-то! Учился-мучился, корпел-сопел – и вот тебе, бабушка, Юрьев день! На Вальку больно глядеть. Одному Витьке море по колено. Зальет глаза – и трава не расти. Ты, Юрок, поосторожнее в душе! Дневная смена жаловалась, горячая вода сегодня – чистый кипятик, чуть не обварились...

– Спасибо!

Арина Антоновна дернула невидимый рычаг, разблокировав турникет, я толкнул никелированный поручень и прошел на заводскую территорию. Лида говорит, раньше тут рос парк, где прогуливались богачи, жившие в нашем доме, когда там было не тридцать с лишним комнат, а несколько огромных квартир. От парка остались аллея из старых лип и прудик, заросший осокой, вокруг него теперь торчат вертикальные цистерны, а из корпусов растут дымящиеся железные трубы.

По асфальтовой дорожке я дошел до душевой пристройки, примыкающей к основному корпусу. Там пахло жиром, яичным порошком, и слышался гул никогда не останавливавшегося конвейера. Из кранов всегда капала вода, и казалось, где-то одновременно стучит множество ходиков. Влага покрывала бисером белый кафель, а на штукатурке темнели серые пятна плесени. Цементный пол застилали склизкие деревянные мостки. В углу стояла большая жестянка с «саопстоком», похожим по цвету на вареную сгущенку, – им моют стеклянные банки перед тем, как туда залить готовый майонез, а кожа от саопстока становится неестественно белой, как сметана. Я вспомнил, что забыл взять с собой детское мыло, и зачерпнул немного «сгущенки» в склянку, стоявшую рядом. Дневная смена давным-давно закончилась, и в душевых кабинках никого не было. Я встал под новый алюминиевый смеситель, бьющий по коже сильными острыми струйками, и, помня предупреждение Арины Антоновны, осторожно повернул вентили холодной и горячей воды...



...В заводской душ (разумеется, теперь уже в мужское отделение) я хожу, если нужно быстренько ополоснуться, а по-настоящему мы моемся с отцом по четвергам – в Машковских или Доброслободских банях. По пятницам и выходным там слишком много желающих, можно два часа простоять в очереди, дожидаясь, когда банщик, выглянув наружу, лениво крикнет: «Один пройдет!.. Два пройдут...» В четверг же если и подождешь, то совсем недолго. А с тех пор, как в прошлом году суббота стала нерабочей, по будним дням в баню вечером можно попасть фактически свободно.

Пока Тимофеич раздевается на длинном диване с высокой спинкой и пронумерованными местами, пока берет простынки и договаривается с пространщиком насчет пива, я уже бегу в мыльную, чтобы найти свободные шайки, которые люди обычно предусмотрительно переворачивают, уходя, а иногда кладут сверху еще годные к употреблению веники: вдруг кому-то еще понадобятся. Совсем уж обтрепанные и обломанные пучки прутьев кидают в кучу рядом с парной.

Конечно, освободившийся тазик тут же хватают немытые граждане, а пустое место сразу занимают. Но некоторые, напарившись, забывают перед уходом перевернуть шайку, этим-то я и пользуюсь. Есть верные признаки, по которым можно понять, что тазик ничейный. Во-первых, рядом с ним нет ни мыла, ни мочалки, во-вторых, вода совсем остыла и подернулась белесой мыльной пленкой, а в-третьих, срабатывает то, что Башашкин называет красивым словом «интуиция». В общем, когда Тимофеич, озираясь, входит в мыльную, я машу ему рукой, успев занять свободную лавку и добыть шайки.

– Молодец, сын, – хвалит он, – в армии каптерщиком будешь!

Парную я недолюбиваю, там жарко, тяжело дышать, и голова кружится. Зато красные, как раки, веселые мужики в рукавицах и старых шляпах с опавшими полями постоянно просят «поддать еще!» – для этого открывают большую железную дверцу печи и швыряют в пекло, на раскаленные добела камни, воду. Оттуда в ответ бьет жгучее облако пара, все ахают и приседают, а потом, стена от удовольствия, охаживают себя березовыми или дубовыми вениками. И кто-нибудь, увидев, как мне тяжело, обязательно дружески хлестнет по спине жгучей влажной листвой со словами: «Терпи, казак, атаманом будешь!» Я, как ошпаренный, выскакиваю наружу после первой же «поддачи» и окатываюсь холодной водой. После этого жизнь продолжается...

Гораздо интереснее, сидя на мраморной лавке и лениво елозя по телу мыльной мочалкой, разглядывать исподтишка моющийся народ. Когда меня, еще детсадовца, отец впервые взял с собой в баню, я был поражен, обнаружив, что, оказывается, у мужчин не только разные лица, фигуры и прически, но и то, что скрывается под одеждой, тоже на удивление многообразно и разнокалиберно. Не знаю, как там у женщин, а у мужчин красивые и пропорциональные тела, вроде Дорифора из учебника истории Древнего мира, встречаются редко. Много пузатых, тощих, сутулых, коротконогих, даже кособоких. Немало и увечных: без ноги, без руки, исполосованных шрамами, напоминающими белесую шнуровку ботинка. Я когда-то думал, будто у взрослых дядей «свистульки» такие ж одинаково миниатюрные, как у детей. Ничего подобного! Они точно слоники на полке у Черугиных. У одних едва выглядывают из густых кудрей, словно носики-курносики из усов и бороды. У других достают чуть не до колен и раскачиваются при ходьбе, будто хоботы. Я заметил: у обладателей «хоботов» выражение лиц обычно гордое и значительное, а у «курнопятых», наоборот, какое-то робко-смущенное.

– Не пялся на чужое хозяйство! – тихо поучал меня отец. – В бане так не положено!

– Почему?

– По кочану!

Что же касается самого Тимофеича, думаю, если бы мужские достоинства можно было выстраивать по росту, вроде учеников на уроке физкультуры, он бы оказался примерно посредине. Кстати, и выглядел Тимофеич во время банной помывки человеком, в себе уверенным, но без гордости. И вот что еще интересно: одевшись, некоторые люди иногда сильно менялись в лице: так, смущенный коротышка, застегнув двубортный костюм и повязав павлиний галстук, сразу превращался в надутого индюка...

– С легким паром! – улынулась Арина Антоновна. – Август в Москве просидишь или куда-то поедешь?

– Послезавтра – на Черное море!

– Это хорошо. А я вот на Черном море никогда не была.

– Как это так? – изумился я.

– А вот так... – вздохнула вахтерша. – Но какие наши годы? Съезжу еще!



## 5. Адмиралиссимус

Когда я вышел из дежурки, на улице уже совсем стемнело, на черном небе выступили бледные звезды. Смятая луна плыла сквозь мутное облако. Над Казанкой шатались белые тени прожекторов. С путей доносились шипение и свист паровозов. Подул ночной ветер, показавшийся мне после горячего душа пронзительно холодным.

Во дворе, из-за выступа, все еще слышался стук костяшек и еще ругань. Значит, скоро рассорятся и разойдутся. Почему-то игра в домино чаще всего заканчивалась шумной сварой. На лестничной площадке стояла в запахнутом легком халате Светка Комкова и томно курила. Значит, все-таки вернулась из своего Баку! Прав был Тимофеич, прав! Увидев меня, она, подмигнув, лукаво улыбнулась и даже пустила струйку дыма в мою сторону, но я, стараясь не смотреть на соседку, проскочил мимо даже не поздоровавшись. Фу-у-у! Кажется, на этот раз обошлось...

Лида закончила с постирушкой и теперь снова сидела, склонившись над моими заносенными техасами. На столе стояла круглая жестяная коробка, в ней у нас хранятся швейные принадлежности. Телевизор был выключен, зато работало радио, и артистка низким грудным голосом рокотала:

*Черноокая казачка подковала мне коня.  
Серебро с меня спросила, труд недорого ценя...*

Странная все-таки песня, хотя передают ее чуть ли не каждый день! Сначала кавалерист, наверное, буденновец, заставляет женщину выполнить чисто мужскую работу (например, я ни разу не видел, чтобы какая-нибудь тетя прибавала молотком каблучки к ботинкам), а потом никак не вспомнит ее имя: «Маша, Зина, Даша, Нина?..» Конечно, белогвардеец мог бы так поступить, но про него не пели бы по радио. И с деньгами, которые она спросила за свой труд, тоже непонятно: десять копеек – серебро, и рубль – тоже серебро. У меня был такой рубль – с советским воином-освободителем, но я потратил его на марки. В общем, не песня, а чепуха на постном масле.

– Как помылся?

– Хорошо.

– Мыло-то детское забыл, голова дырявая!

– На юг возьму.

– Даже и не знаю, как быть... Подвороты насквозь посеклись.

– Может, отрезать? Получатся шорты или бриджи...

– А что? Это мысль! Если завтра тебе что-нибудь купим, так и сделаю. – Она отложила техасы и взялась за другую починку.

Я же достал из письменного стола коробку из-под овсяного печенья и вложил туда, определив по алфавиту, новые листочки с героями. На Викторе Вагине мой взгляд задержался. Гермошлем. Круглое, почти ребяческое лицо. Израсходовав боеприпасы, поджег свой танк вместе с вражескими машинами. Был человек и сторел дотла. За Родину...

Пока Лида вздыхая штопала мои носки, натянув их для удобства на перегоревшую лампочку, я решил все-таки перед отъездом заклеить дырку в самодельном компрессоре, зачистил наждаком место прокола, намазал заплатку клеем из тюбика, плотно придавил резиновый кружок к камере и только тут сообразил, что по инструкции прижимать заплатку, «прикладывая усилие не менее 10 килограммов», нужно два часа. С ума сойдешь! Но я не зря расту в семье рационализатора! Как говорит заяц из мультфильма, постукивая себя лапкой по лбу: «Выру-

чалочка, вот она где!» Я положил камеру на пол, придавил заплатку ножкой стула, на который и уселся, открыв книгу. Теперь пусть попробует не приклеиться!

Эту книгу мне еще в начале каникул дал почитать Андрюха Калгашников. На фиолетовой обложке в овале золотыми буквами оттиснуто: Иван Ефремов. «На краю Ойкумены. Звездные корабли». В детском абонементе «Библиотека приключений» почти всегда на руках, надо записываться в очередь и ждать. А у Андрюхи мать работает в издательстве, и у них в комнате два шкафа с книгами да еще в прихожей стеллажи – битком. «Библиотека приключений» у них стоит томик к томику: красные, желтые, синие, зеленые... Андрюха мне уже давал «Записки о Шерлоке Холмсе», «Тайну двух океанов», «Копи царя Соломона». Точнее не он, а его мамаша Вилена Григорьевна, суровая и невозможно худая женщина. Вручая книгу, она предупредила: «Юра, запомни и заруби на носу: читать только дома, никуда не выносить, жирными пальцами страницы не переворачивать, углы не загибать и вернуть по первому требованию! Понятно, молодой человек?» Она у него работает в издательстве цензором. Я-то раньше думал, цензоры были только при Пушкине и Лермонтове. Оказывается, теперь тоже есть и тоже строгие.

Живут Калгашниковы в новом кирпичном доме с окнами на Спартаковскую площадь. На первом этаже огромного здания расположены продмаг, ателье и кинотеатр «Новатор». Везет же людям: спустился на лифте, купил за двадцать пять копеек синий, как промокашка, билетик на дневной сеанс и смотри любой фильм. Отец Федор Пантелеевич – майор, очень толстый, Андрюха показывал мне по секрету его наградной пистолет ТТ, правда, без патронов. Когда Вилена Григорьевна и Федор Пантелеевич стоят рядом, просто смех берет: ну, вылитые Пузырь и Соломинка из русской народной сказки!

Я нашел то место, на котором остановился, – главу третью «Великая дуга» – и углубился чтение.

«...Снова поднялись истрепанные, много раз чиненные паруса, закрипели весла в истершемся дереве. Не подозревая о грозной опасности, Баурджед повел свои семь судов на новые поиски Великой Дуги и волшебного Пунта. Опять прохладный могучий простор морского воздуха оживил привыкших к нему моряков. Длинной лентой разворачивался однообразный песчаный берег; возвышавшиеся поодаль утесы окрашивались в солнечных лучах в разноцветные, то мрачные, то радостные узоры...»

Начиная читать книгу, я еще не знал, что такое «Ойкумена». Спросил Лиду – она ответила: очень знакомое слово, помнила, но забыла. Тимофеича даже трогать не стал: точно не знает. Когда родители ссорятся, маман иногда кричит: «Если бы не я, ты бы никогда техникум не закончил!» А он отвечает: «Зря только штаны протирал. Мне и восьмилетки за глаза хватило бы, контакты зачищать!»

В школьной библиотеке, заглянув в словарь иностранных слов, я выяснил: «Ойкумена, по представлениям древних греков, – это обитаемая часть суши». Значит, стоило выбраться за пределы ойкумены, и ты сразу оказывался там, где не ступала нога человека. Интересно, а сейчас такие места еще остались?

В прошлом году в «Клубе кинопутешествий» бородатый Шнейдеров рассказывал про индейцев, которые преспокойно живут в джунглях Амазонки как при каменном веке, охотятся на крокодилов и добывают огонь с помощью трения. Ходят они совершенно голые, не стесняясь, а когда увидели белых людей в шортах, то буквально попадали со смеху. Я представил себя, как мы в школе тоже ходим совершенно голыми, даже Клавдия Савельевна и Марина Владимировна. Вот начинается урок – и Шуру Казакову вызывают к доске... Я покраснел и вернулся к чтению.

«Корабли взлетали на тяжкую грудь водяного вала, быстро низвергались в темные провалы и снова, задрав носы и поникнув кормой, устремлялись вверх до следующего падения. Казалось, чьи-то мощные, безжалостные руки играли судами, точно скорлупками, мерно под-

брасывая и опуская беспомощные корабли. Паруса захлопали, провисая и снова надуваясь, загремели реи, затрещали весла под давлением водяных гор...»

Мне тоже захотелось стать путешественником и первопроходцем. Но для этого надо сначала записаться в клуб юных моряков «Каравелла», там учат плавать, грести, лазить по канату, вязать морские узлы, натягивать паруса, пользоваться компасом, а через год выдают каждому настоящую тельняшку. Я представил себе, как сижу в тельняшке и вяжу очень сложный морской узел под названием, допустим, «Тройной удав». Неожиданно в кубрик входит седой капитан... Нет, лучше – адмирал! Он попыхивает трубкой и объявляет, что срочно нужны добровольцы для участия в опаснейшей экспедиции.

– Родина зовет!

– На край Ойкумены? – смело спрашиваю я.

– Нет, юнга, дальше, за край, очень далеко, – отвечает адмирал и внимательно смотрит на меня. – Хм, «Тройной удав»? Это очень сложный узел, мало кто умеет такие вязать. Фамилия?

– Полуяков.

– Ну что ж...

Нет, с такой непонятной фамилией в путешественники даже соваться нечего. Другое дело – Пржевальский, так и видишь его верхом на горячем, ржущем коне. Я перебираю в уме разные варианты, пытаюсь произвести что-то достойное от слова «звезда»: Звездин, Звездов, Звездюков, Звездаев, Звездунов... Нет, не то! Хорошие фамилии получаются из явлений природы. В конце концов я нахожу правильное решение.

– Фамилия, юнга?

– Ураганов.

– Неплохо! Произвожу тебя, курсант Ураганов, в старшие юнги. Ну так, парни, кто готов отправиться в эту опаснейшую экспедицию? Предупреждаю, домой вернутся немногие...

Все молчат, низко опустив головы.

– Я, товарищ адмирал, готов! – вскакиваю я.

– Молодец, Ураганов! Верю в тебя.

– Но только Ирина Анатольевна пропускать школу без справки участкового врача не разрешает.

– Не беспокойся, пошлем Ирине Анатольевне правительственную телеграмму.

– А Лиде?

– Кто такая?

– Маман.

– С ней я лично поговорю. Это особое задание Родины. Поймет.

Потом мы долго плывем по морям и океанам. Дикие штормы играют нашей стальной бригаантиной, словно спичкой в весеннем ручье. За нами неотступно следит американская подводная лодка, но я вовремя ее замечая и точной торпедой отправляю вражескую субмарину на дно. Меня производят в офицеры. У нас кончается пресная вода. Я сачком ловлю летучих рыб, как Тур Хейердал, вспарываю им животы, где скапливается живительная влага, и спасаю команду от верной гибели. Адмирал назначает меня своим заместителем. Наконец мы добираемся до большого необитаемого острова – цели нашего путешествия, но бухту от открытого моря отделяют сплошные рифы с еле заметным проходом, узким, как кругозор идиота. (Любимое выражение Башашкина.) Адмирал волнуется, даже просит накапать ему на сахар валерьянки и наконец признается, что не сможет провести бригаантину через рифы.

– Попробуй ты, Ураганов, у тебя глаза помоложе!

Бабушка Аня всегда так говорит, когда не может вдеть в иголку нитку, что я делаю легко, послунив кончик.



Мне, как пятнадцатилетнему капитану, доверяют штурвал. Я дожидаюсь прилива и ювелирно провожу корабль между скалами, так, что острые камни срезают ракушки, успевшие нарасти на бортах за время плавания. Меня сразу после этого назначают капитаном.

Но негостеприимный остров, оказывается, обитаем! Его захватили жадные империалисты и заставляют чернокожих дикарей добывать в глубоких шахтах алмазы, причем используют труд малолетних детей, так как в узкие проходы под землей могут пролезть только шуплые от недоедания негритята. Я возмущен и разрабатываю секретный план: непроглядной ночью мы нападаем на штаб колонизаторов, после кровопролитного боя они сдаются, складывают оружие и убираются восвояси. Остров – свободен, как Куба. Все ликуют, ведь за счет алмазов, которые теперь достаются тем, кто их добывает, очень быстро можно построить на острове с помощью СССР социализм и даже коммунизм. Перед отплытием я прошу главного вождя запретить туземцам ходить голышом и в знак вечной дружбы дарю ему шорты, которые Лида сконструировала из моих обтрепавшихся техасов. Он же в ответ дарит мне самый большой алмаз из всех когда-либо найденных на острове. Пять поколений землекопов, передавая от отца к сыну, скрывали эту дивную реликвию от колонизаторов и сохранили для потомков. На борт драгоценность несут восемь человек, сгибаясь от тяжести.

По возвращении в Москву я, конечно, передаю бесценный камень в Алмазный фонд СССР, где побывал еще рядовым ребенком, когда профком вывозил тружеников Маргаринского завода на воскресную массовку в Кремль. Помнится, Чижев, еще не превратившийся к тому времени в Ежова, показал пальцем на алмазик величиной с обсосанный леденец-ландрин и спросил у задумчивого экскурсовода, сколько такая крохотуля может стоить? Он просто хотел разъяснить недогадливой жене, мечтающей о собственном бриллианте, сколько квартальных премий придется потратить, чтобы купить ей на Восьмое марта бесполезной осколок. Экскурсовод долго соображал, загибая пальцы, а потом выдал: «Полторы “Волги”, без малого десять тысяч». Жена в ответ обидно заржала, а Чижев напился, едва выйдя из Спасских ворот.

В Кремле разом за все заслуги сразу мне вручают «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и производят в адмиралы... Нет! В адмиралиссимусы! И вот я, в черной форме с позументами, придерживая на боку золотой кортик, приезжаю по приглашению «Морковки» на «Чайке» в нашу 348-ю школу, чтобы встретиться с коллективом. Мы медленно поднимаемся по лестнице в актовый зал, где уже собрались все без исключения учителя и ученики, и Анна Марковна рассказывает мне об успеваемости, самостоятельности, спортивных успехах, сборе металлолома... Вдруг мимо нас норовит прошмыгнуть Шура, которая всегда старается смыться с массовых мероприятий, за что ее даже как-то разбирали на совете отряда. Директриса возмутилась:

– Казакова, в чем дело? Опять? Разве ты не хочешь встретиться с адмиралиссимусом Урагановым? Он, между прочим, Герой Советского Союза и твой, кстати, одноклассник!

– Одноклассник? – Она с удивлением смотрит на меня, не узнавая из-за бороды, которая положена каждому флотоводцу.

Черт, а откуда у меня борода? Допустим, наше путешествие и борьба за независимость черного континента заняли три года. В девятом или десятом классе на лице ученика может пробиться вполне реальная растительность. Я сам слышал, как Клавдия Савельевна ругала Папикиану: «Рубен, ты почему в школу со щетиной, как уголовник, притащился? Тебя отец бриться не научил? Я ему позвоню!» Но с другой стороны, если я пропустил три года учебы, то мне надо снова идти в седьмой класс? Нет, это какая-то сказка о потерянном времени получается... Но выход есть! Допустим, я взял с собой в плавание учебники и продолжил образование самостоятельно, в трудных случаях по рации связываясь со школой. Ленин же сдал экстерном университетские экзамены, чтобы не отрываться от революции!

В комнату шумно вошел сердитый Тимофеич:

– Ни черта играть не умеют!

– Кто? – спросила Лида.

– Все! Спать!

Он выключил радио, которое ласковым голосом рассказывало про собачку по имени Каштанка, погасил абажур, зажег «грибок» на тумбочке и разделся, зачем-то решив повесить брюки в шифоньер, где долго рылся, а потом со стуком захлопнул створку. Маман вздохнула, отложила штопку и спрятала жестяную коробку со швейными принадлежностями.

– А тебе отдельное приглашение нужно? – раздраженно спросил отец. – Ты чего расселся, как король на именинах?

– Я заплатку на камеру поставил, а ее надо придавить.

– Стулом, что ли?

– А чем еще?

– И сколько тебе еще так сидеть?

– Час.

– А ну вас всех к лешему!

Лида достала из разложенного дивана мои спальные принадлежности, взбила подушку, заправила простынь и накрыла все это одеялом, пахнув на меня свежестью чистого белья.

– Соскучился по своей постельке?

Я снисходительно кивнул и отвернулся, так как она начала раздеваться, закрывшись, как обычно, дверцей гардероба. Наконец родители улеглись, скрипя кроватью, и выключили «грибок».

– Не надо, – тихо и зло сказала Лида.

– Почему это?

– Потому что тебе домино дороже жены.

Они поворочались, поругались шепотом, помирились, чмокнулись на сон грядущий и затихли. Я же сидел в темноте и смотрел в открытое окно. Небо, усеянное яркими звездами, было похоже на плотно сдвинутые черные костяшки домино с белыми точками. Потом из-за тучи выплыла окутанная светящимся туманом луна, напоминающая золотую вуалехвостку, которая у продавца на Птичке занимает половину ведерного аквариума. В комнате стало почти светло, хоть книжку дальше читай, но глаза слипались. Я встал, приподнял стул и обнаружил, что заплатка намертво прилипла не к камере, а к ножке – не отодрать...

Проклиная дурацкую инструкцию, я лег в постель и после раздумий решил прибавить себе еще одну Звезду Героя, а также побриться перед встречей с коллективом родной школы, тогда Шура Казакова сразу меня узнает, горько пожалев о том, что ходила в «Новатор» на «Операцию «Ы» с выпендрежником Вовкой Соловьевым...



## 6. Глупости

Утром я проснулся поздно. Предки давно ушли на работу. Сквозь щель между шторами в комнату проникало душистое солнце. В расходящейся полосе света роились, как инфузории в воде, бесчисленные пылинки. Часы на тумбочке показывали десять минут одиннадцатого. От пересыпа немного болела голова. Вот так выдыхся! Дядя Юра называет это – «сдал экзамен на пожарного».

Я сперва не понимал, в чем юмор, и он мне объяснил: пожары в Москве бывают редко, поэтому те, кому положено бороться с огнем при помощи брандспойта, в основном спят, дожидаясь, когда где-нибудь полыхнет. В прошлом году у нас в Налесном переулке горел выселенный деревянный дом. Улица была запружена красными машинами, примчавшимися с истощенным воем. Собралась толпа. Милиционеры просили людей разойтись, уверяя, будто ничего интересного тут нет, а пожар – это вовсе не цирк! Как так ничего интересного? Когда рухнула кирпичная труба, в небо взлетел великолепный столб искр и пепла. Пожарные в брезентовых робах и касках, сияющих, точно никелированные шляпки будильников, со словами «Посторонись – зашибу!» деловито разматывали по асфальту шланг. Он сначала был плоский, а потом надулся, словно анаконда, а они втроем еле удерживали железный наконечник, из которого била такая мощная струя, что вылетали полуобгоревшие рамы из окон... Пепелище дымилось потом еще неделю.

Я сладко потянулся и остался в постели. Если бы не каникулы, сейчас в школе как раз закончился бы второй урок и началась длинная перемена. Все помчались бы на первый этаж в столовую, чтобы съесть завтрак за десять копеек: обсыпанный сахаром «язычок» или ватрушку с чаем. Я слотнул мечтательные слюни. Такое позднее пробуждение можно позволить себе только в каникулы, когда время сладко тянется, будто сгущенное молоко из дырочки, пробитой в жестянке.

Во время учебного года я вскакиваю в половине восьмого, успевая не только умыться, одеться и поесть, но еще и повторить за завтраком что-нибудь из домашнего задания, поэтому страницы моих учебников все в жирных пятнах, и это, конечно, безобразие, так как книги в мае мы сдаем в школьную библиотеку для нужд подрастающего поколения. Но утром за неряшливость бранить меня некому: родители уже на работе. Сквозь сон я иногда туманно улавливаю их приготовления к уходу: отец собирается тихо и быстро. Лида же всегда торопится, суетится, налетает на стулья, но постоянно что-то забывает и возвращается, в сердцах называя сама себя «кулёмой».

Мне же спешить некуда, опоздать к первому уроку я не боюсь: школа-то рядом, на ближайшем перекрестке, добежать до нее можно за две минуты. У двери стоят дежурные, проверяя чистоту рук и наличие мешков со сменной обувью. Грязнуль сразу отправляют к умывальнику, и они подчиняются, так как рядом возвышается грозная Клавдия Савельевна. Мальчишкам, которые влетают в вестибюль со звонком, она дает довольно-таки чувствительные затрещины, а девчонок обещает в следующий раз непременно отодрать за косы. Тех, кто забыл дома сменную обувь, разворачивают в обратную сторону, а потом еще делают запись в дневнике. В раннем детстве мы устраивали после уроков рыцарские турниры: щитами служили портфели, а мешки со сменкой раскручивались на веревке и обрушивались на голову врага. Увлекательнее только битва подушками в пионерском лагере!

Но до начала учебного года, до первого звонка еще почти месяц. После каждого лета я замечаю, как меняются мои одноклассники: некоторые вырастают сразу на полголовы. Ребята раздаются в плечах, у девчонок появляются взрослые повадки, Шура Казакова, например, после каждых больших каникул становится все красивее и загадочнее.

Я вздохнул и решил еще немного понежиться в постели. Полное счастливое одиночество! Младшего брата Сашку, способного отравить даже такое солнечно-бездельное утро, услали до осени на дачу. Детский сад, куда и я ходил до школы, расположен на Большой Почтовой в Буденновском поселке. К пятиэтажному дому с двухъярусной верандой пригорожен участок, засаженный высокими деревьями и кустарником, который осенью покрывается белыми ягодами, ядовитыми, как уверяли воспитательницы. Возле стволов, между корнями, летом росли шампиньоны, их рвать и уносить домой разрешалось. В саду нас закаляли, как сталь: зимой укладывали в тихий час на веранде в ватных спальных мешках. От мороза слипались ноздри, но медсестра уверяла, что теперь нас не возьмет никакая простуда. Однако я болел регулярно, а бабушка Аня твердила, что при Сталине медсестру обязательно посадили бы за вредительство.

Летом детский сад всегда выезжает за город, на дачу. Добраться туда очень просто: с Казанского вокзала ходит электричка до станции Отдых, а дальше надо от платформы идти мимо глухих заборов, из-за которых видны железные или шиферные крыши. Кстати, если бросить кусок шифера в костер, он рванет, как настоящая граната. Проверено, и не раз, поэтому важно вовремя отбежать подальше или лечь, прикрыв голову руками!

Кое-где сплошные заборы сменяются редким штaketником, тогда можно рассмотреть рубленые дома с похожими друг на друга верандами и крылечками. Тимофеич, а он вообще смотрит на жизнь с мрачным прищуром, говорит, что там живут недобитые буржуи.

– Не буржуи, а ответственные работники, – осторожно поправляет маман.

– Один леший!

Дача нашего детского сада – это большой участок, который взрослые зовут «гектаром», а однорукий сторож Иван Родионович, сражавшийся еще в Гражданскую войну, – «десятиной». Гектар, огороженный сплошным белым забором, казался мне когда-то необъятным. На нем умещались: спальня с открытой верандой, столовая с кухней, склад, санитарный пункт, домик, где жили нянечки и воспитательницы, прачечная с душем, игровая площадка с качелями и песочницей. В дальнем углу – огород со всякими овощами, включая гигантские желтые тыквы, а вдоль ограды – сад с яблонями, грушами, сливами, вишнями, сладкой малиной, колючим крыжовником, душистой смородиной... Высоко над грядками топырилось пугало в шляпе, и ветер шевелил рукава старой выгоревшей гимнастерки Ивана Родионовича. Но птицы все равно пугала не боялись, и когда нам на полдник давали доморощенную клубнику, некоторые ягоды были поклеваны.

Сад-огород отделялся штaketником с калиткой, запирающейся на задвижку. Иногда воспитательница Римма Федоровна приказывала нам построиться парами, и мы шли туда – смотреть, как зреет клубника. Обязательно – с песенкой:

*По малинку в сад пойдем,  
В сад пойдем, в сад пойдем  
И малинки наберем,  
Наберем, наберем.  
Солнышко во дворе,  
А в саду тропинка  
Сладкая ты моя,  
Ягодка малинка...*

Кто не пел, а только открывал рот, тот рисковал попасть вместо огорода в угол, за пианино. Но ни малину, ни клубнику, ни тем более колючий крыжовник нам собирать не доверяли. Самым послушным разрешалось выдернуть сорняк и положить в ведро. Остальные должны были высматривать спелые ягоды и с криком, опережая друг друга, указывать на них нашим воспитательницам – Римме Федоровне или Анфисе Андреевне, они осторожно их срывали и

складывали в лукошко, а потом на полдник каждому доставалось по три-четыре крупных клубничины. И хотя родители, приезжавшие почти каждое воскресенье, привозили в стеклянных банках пересыпанную сахаром клубнику, ягоды, найденные нами в саду, казались особенно вкусными. Иногда, во время прогулки по саду-огороду, Анфиса Андреевна вдруг громко спрашивала: «Сидит девица в темнице, а коса на улице?» «Морковка!» – радостно догадывались мы. В подтверждение она крепко бралась за длинную перистую ботву и раскачивая вытаскивала из земли оранжевую остроносую морковку. А крыжовник был кислым, поэтому из него варили компот, добавив черной смородины.

Если воспитательница подходила и, внимательно осмотрев, тихо говорила: «Юра, быстро отряхни колени, вымой руки и высморкай нос...» – мое сердце сладко вздрагивало в груди. Без всяких объяснений я знал: ко мне приехали! – и радостно, захлебываясь встречным теплым ветром, мчался к воротам, которые охранял однорукий Иван Родионович. «Ко мне приехали!» – громко стучало сердце. «К нему приехали!» – с завистью смотрели вслед друзья и подружки. Но дальше калитки взрослых обычно не пускали, за исключением родительского дня.

Однажды, окрыленный словами «К тебе приехали!», я на бегу зацепился сандалиями за узловатый сосновый корень, пересекавший дорожку, упал с разгона, сильно ободрал колени и предстал перед Лидой в жутком виде – пыльный, всхлипывающий и кровоточащий. Она пришла в ужас, даже заплакала. Вызвали медсестру, и та залила мои раны перекисью, страшно пузырившейся на содранной коже, а потом еще помазала зеленкой, и я стал похож на обитателя Изумрудного города.

С двух сторон наш «гектар» окружал лес, третья – выходила на дорогу, по которой ездили в основном велосипедисты, их головы в панاماх, соломенных шляпах и кепках проплывали иногда над забором. А вот с четвертой стороны за сплошной белой стеной в доме, напоминавшем терем из книжки про Марью Моревну, обитала старая большевичка Кац – подруга Крупской. Но кто такая Крупская, я узнал только в школе.

Анфиса Андреевна как-то объяснила, что дачу партия и правительство выделили Кац за то, что она видела Ленина. Но мы почему-то считали эту Кац злой волшебницей и, припадая к щелям между досками, с ужасом рассматривали заросший участок, где иногда на дорожке, посыпанной толченым кирпичом, появлялась седая крючконосая старуха в лиловом плюшевом халате, она выгуливала на поводке огромного рыжего кота с жуткой бандитской мордой.

«Кац идет!» – эта весть мгновенно облетала весь «гектар».

Через минуту мы буквально прилипали к забору, пугая друг друга бабой-ягой с костяной ногой. Старуха, наверное, чувствовала, а может и видела, как через щели за ней следят испуганные детские глаза, бормотала что-то не по-русски и грозила нам кривым пальцем. Вскоре у нас за спиной появлялась Римма Федоровна и сердито кричала:

– Брысь отсюда, поганцы!

Последний, кто отлипал от щели, отправлялся в угол, за пианино. Потом воспитательница подходила к забору и громко извинялась:

– Простите, Клара Моисеевна, они больше так не будут!

– Ничего, голубушка, ничего. Я понимаю: дети – цветы жизни! – отвечала Кац прокуреным голосом.

Месяц назад, когда я вернулся с первой смены, мы с Лидой в родительский день ездили к Сашке на станцию Отдых с гостинцами. Я не был на даче с первого класса, так как школьники проводят лето, естественно, в пионерских лагерях. За шесть лет многое изменилось. От платформы теперь в глубь поселка вела асфальтированная дорожка. У некоторых заборов стояли «Победы» и даже «Волги», а прежде только черные «ЗИМы» приезжали утром, чтобы отвезти дачников с портфелями на работу. Наши ворота охранял совсем другой сторож.

– А где Иван Родионович? – спросил я.

- Приказал долго жить... – ответил он грустно.
- Это как?
- Умер.
- А Кац?
- Жива. Что ей сделается? Она же Ленина видела.
- Правда? – изумилась Лида. – Ленина?
- Чистая истина! Его самого.
- Вот бы на нее посмотреть!
- Ничего интересного. Обыкновенная неряшливая старуха.

Я почему-то представил себе Ивана Родионовича, который вдруг сел в гробу, поднял единственную руку и, погрозив пальцем, приказал, чтобы все жили как можно дольше, иначе он обидится. Потом снова лег.

Войдя в калитку, я поразился: какой же он, оказывается, маленький, наш «гектар» – просматривается насквозь. Казавшаяся бесконечной главная дорожка, изрытая корнями, на самом деле не длиннее шестидесятиметровой дистанции на школьном спорт-дворе. За шесть лет многое изменилось. Крышу главного корпуса покрыли новым шифером – серым, как осинное гнездо, расширили игровую площадку и срубили огромную сосну, об корень которой я когда-то споткнулся, мчась к Лиде.

Мы приехали в родительский день, наверное, самыми первыми, так как отец купил билеты в кинотеатр «Новатор» на новую цветную кинокомедию «Бриллиантовая рука», ее вздох хвалило все общежитие, а дядя Коля сказал, что последний раз так хохотал, когда в первый раз смотрел «Волгу-Волгу». Он даже тетю Шуру поднял с кровати, что почти невозможно, и отвел в кинотеатр. Когда Тимофеич после работы зашел в кассы, на воскресный вечер все уже было распродано, остались места только на 15.30.

– Здрастье, вы бы еще с ночи приехали! – хмуро бросила нам, проходя мимо, незнакомая воспитательница.

- Так вышло... – смутилась Лида.

Детей как раз вели из душевой, где преднамеренно помыли, чтобы к приезду родителей они выглядели чистыми и опрятными – в свежих трусиках и майках. Мой грустный младший брат шел, держась за руку, с рыжей веснушчатой девочкой и не обращал на родню внимания, видимо, не ожидая такого раннего появления. Заметила нас Римма Федоровна, почти не изменившаяся, но уже не такая высокая, как раньше. От нее по-прежнему пахло табаком. Лиду она сразу узнала, а на меня посмотрела с недоверием:

- Юра, что ли?
- Юра...
- Господи, как же вырос! Саша Полуяков, к тебе приехали!

Брат оглянулся и расцвел, ликуя. А вот я, наоборот, покраснел и стал смотреть себе под ноги. Дело в том, что Римма Федоровна – первая взрослая женщина, которую я видел по-настоящему целиком голой и даже успел рассмотреть. Не знаю уж, как сейчас, а в мое время в детском саду мальчиков и девочек мыли вместе, да и на горшок тоже сажали рядом. Взрослые уверены, будто в этом возрасте мы еще ничего не понимаем. Как будто сами не были маленькими! Напрасное заблуждение: как раз в эту пору мелюзгу страшно интересует вопрос, почему мальчикам от природы достались «колбаски», а девочкам – «сумочки». Более того, дети твердо уверены, что со временем каждая «колбаска» после свадьбы окажется в какой-нибудь определенной «сумочке», и часто вслух обсуждают эту перспективу.

В общем, нас тоже тогда мыли перед родительским днем, каждому терли волосы большим куском коричневого мыла, и тут самое главное – вовремя зажмуриться, чтобы пена не попала в глаза, иначе будет так щипать, что обрыдаешься. Особенно доставалось длинноволосым девчонкам, им намыливали голову два-три раза. Бедненькие! Возненкова вопила так,

словно ее кипятком ошпарили. Если кто-то не успевал зажмуриться и начинал плакать от рези в глазах, воспитательницы строго говорили:

– Терпи! Лучше потерпеть, чем потом вшей выбирать.

Этими таинственными и опасными насекомыми, которых я никогда нигде не видел, воспитательницы, но особенно медсестра Евгения Марковна, пугали нас постоянно, видимо, сами в детстве с ними намучились. Я представлял себе вшей чем-то вроде рыжих мокриц, которые прячутся под камнями. Обнаруженные, они убегают, мерзко извиваясь и перебирая бесчисленными ядовитыми лапками. Страшно подумать, что такие сволочи могут поселиться на твоей голове!

В общем, всех тогда особенно тщательно вымыли, ополоснули и вытерли вафельными полотенцами.

– Как новенькие! – оглядев нас, улыбнулась Анфиса Андреевна.

Мы уже одевались, помогая друг другу, когда Римма Федоровна, пощупав себя под мышками, сказала с неудовольствием:

– Как же сегодня жарко! Пропотела вся до безобразия. Несет, наверное, от меня, как от кобылы?

– Да вроде как обычно, – пожала плечами Анфиса Андреевна.

– Спасибо!

Римма Федоровна сердито скинула белый халат и просторные лимонного цвета трусы, потянувшись и встала под душ. Сначала я заинтересовался ее ногами. Выше колен они были белыми, как чистый лист альбома для рисования, а ниже – почти коричневыми, точно кофе без молока. Загар заканчивался на ступнях четким полукруглым мыском, а вот пальцы ног, закрытые тапочками, оказались также абсолютно белыми. Я посмотрел на свои ходули и обнаружил точно такую же картину.

– Римм, дети еще не ушли! – предостерегла Анфиса Андреевна.

– Фис, да брось ты, они еще ни черта не понимают! – со смехом ответила та, намыливаясь.

– Хоть брось, хоть подними! Вон как Профессор на тебя смотрит! – и она показала на меня пальцем.

Я тем временем, как зачарованный, разглядывал голую воспитательницу: сначала изучал, недоумевая, ее пах, такой кудлатый, что казалось, она зажала между ног большую рыжую мочалку, а потом перевел изумленный взор на огромные, белые, в голубых прожилках, груди с пупырчатыми лиловыми сосками...

– Что ж ты такой у нас наблюдательный! – Римма Федоровна, сердито покачав головой, вышла из-под струй, закрылась вафельным полотенцем и строго приказала:

– Иди, Юра, на улицу, здесь ничего интересного для тебя нет!

Я повернулся и побрел к выходу, недоумевая, зачем людям нужны волосы еще где-то, кроме головы...

– Фис, курить хочу – не могу! – слышалось у меня за спиной.

– Ну и посмоли где-нибудь потихоньку, – посоветовала участливая Анфиса Андреевна.

– Людка сказала: еще раз увидит с папирсой – уволит.

– Тогда – терпи!

– Юра, тебе русским языком сказали: иди наружу. Тут ничего интересного! – прикрикнула Римма Федоровна.

И хотя она была в корне не права, я покорно ушел, но эта картина долго потом стояла у меня перед глазами. А Людка – это директор детского сада Людмила Михайловна, она была страшно строгая и добрела только на Новый год, когда переодевалась Дедом Морозом.

Взволнованный воспоминаниями, я откинул одеяло, приспустил трусы и некоторое время исследовал то, что в детском саду дети и взрослые называли «глупостями». Воспитательницы зорко следили и одергивали: «Костя, прекрати трогать свои «глупости!» Или: «Боря,



не лезь Возененковой в трусы! Мал еще!» Она была странной девочкой, иногда подходила и тихо спрашивала: «Хочешь посмотреть мои глупости?» Кто же откажется?!

Вообще, как только не называют эту секретную часть тела... Бабушка Аня, когда мыла меня в раннем детстве, пользовалась ласковым словом «петушок», хотя никакого особенного сходства лично я тут не нахожу. Отец предпочитает странное выражение «женилка», но, выпив и разозлившись, может к ужасу Лиды ляпнуть краткое неприличное слово, которое редко употребляют при женщинах и детях, зато постоянно пишут на заборах и в туалетах. А вот наш учитель физкультуры Иван Дмитриевич величает глупости «мужским достоинством» и предупреждает мальчиков перед прыжком через «коня»: «Осторожнее, дурында, отшибешь свое мужское достоинство! Мамка новое не пришьет!»

Так вот, мое «мужское достоинство» в последний год стало меняться. Во-первых, немного подросло и уже не напоминает, как прежде, по форме пипетку для закапывания эфедрина в нос. Во-вторых, в паху, совсем недавно голом, как коленка, появилось несколько длинных темных волосков. И третье, пожалуй, самое главное: раньше моя «женилка» увеличивалась и твердела, только если сильно хотелось «по-маленькому», но теперь...

Как-то я шел на Большую кухню, чтобы поставить на огонь чайник, и увидел на площадке Светку Комкову. Она задумчиво курила, держа длинную сигарету между двумя пальцами. Байковый халат, накинутый на прозрачную ночнушку, разошелся, а под рубашкой ничего не было. Точнее, было – примерно то же самое, что и у Риммы Федоровны. Я замер. Светка, и раньше-то нешустрая, после рождения ребенка и пропажи кратковременного мужа-студента Виталика стала совсем какой-то печально-рассеянной. Я ее жалел, хотя Лида утверждала, что с такой распустехой и грязнулей жить никто не станет и Светка навсегда останется матерью-одиночкой. Тимофеич в ответ ухмылялся, мол, с такими-то филеями она недолго проневестится. Мать в ответ фыркала и обижалась.

...Комкова задумчиво пускала сизые кольца к потолку и не сразу обратила на меня внимания, а когда заметила, ее большие янтарные глаза широко открылись от удивления, и она поперхнулась дымом. Я сначала не понял, что ее так рассмешило, а когда сообразил, чуть не провалился от стыда сквозь мозаичный пол вместе с чайником: мои старенькие синие треники спереди выглядели так, словно в них перпендикулярно вставили карандаш. Покраснев, я стремглав вернулся в комнату, а Лиде наврал, будто все конфорки заняты. Когда через полчаса меня снова отправили на кухню, хозяйки, и старые, и молодые, как по команде, оторвавшись от кастрюль и сковородок, с веселым любопытством уставились на мои треники. Видно, подлая Светка все им рассказала. Я снова убежал с пустым чайником.

– В чем дело? – спросила маман.

– Ни в чем!

Когда Лида, вскипятив-таки воду, вернулась с кухни, она тоже посмотрела на меня с любопытством, но – с укоряющим. Я же сделал вид, будто увлечен подготовкой уроков, и ниже склонился над учебником истории, читая про Крестовые походы и завидуя средневековым воинам, которые всюду ходили в латах, надежно скрывая от посторонних взглядов любые состояния своих рыцарских глупостей.

– Встань! – приказала мать. – Ну, правильно – в обтяжку. Они же тебе малы. Разве можно на людях в таких штанах показываться? Снимай сейчас же!

– Я буду в них только дома ходить!

– Снимай! А с Комчихой я еще поговорю!

– Что случилось? – оживился отец.

– Не важно.

Лида взяла мои треники, нашла в них прореху и тут же демонстративно надела на швабру: мол, вот на что годится эта позорная тряпка. Потом я слышал, как старуха Комкова, Светкина мать, возмущалась на кухне:

– Ишь ты, учить меня на старости лет вздумала! У себя в парткоме пусть командует. Мы беспартийные, в чем хотим, в том и ходим!

– Это ты, Тарасовна, не права! Лидка правильно тебя отругала. У Светки твоей весь передок кудрями наружу, мало что брошенка. На нее ж не только пацаны, но и мужики наши пялятся.

– Ну и пусть себе пялятся, ежели ваши мужики такие глазастые. Мы за погляд денег не берем. И не брошенка она, а в законном разводе. Штамп в паспорте имеем.

– Ой, смотри, Комчиха, напишем куда следует!

– Что напишете-то?

– Что дрожжи да сахар авоськами домой из магазина таскаешь!

– Да, пиши, пиши... Я пироги пеку!

– Знаем мы твои пироги! Не с них ли Шутов в петлю полез? Ты хоть марганцовкой поило-то свое осаживай!

– Не учи ученую!

Не знаю, чем закончилась перебранка, меня заметили, и я смылся. Но Светка с тех пор, если и выходила на площадку покурить, то в плотно запахнутом халате, а в мае она вышла замуж за золотозубого азербайджанца Мурада и, оставив ребенка матери, уехала с ним в Баку. Тимофеич, узнав про это, криво усмехнулся:

– Набалуется и бросит или – еще хуже – продаст в гарем.

– Совсем с ума сошел! – возмутилась Лида. – Какой еще гарем? Там у них в Баку советской власти нет, что ли?

– На Кавказе? Да ее там и не было никогда.

– Ты смотри, на заводе такое не ляпни!

– Не учи ученого!

После того обидного случая со мной стали происходить странные вещи: стоило мне увидеть где-нибудь курящую женщину, даже совсем старуху, мое мужское достоинство тут же поднимало голову. Я пролистал все журналы «Здоровье» на этажерке, но объяснения не нашел, а признаться Лиде и пойти в детскую поликлинику – стыдоба. Ну и как теперь с этим жить?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.